

БИБЛИОТЕКА ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА

Иван Наживин

СТЕПАН РАЗИН



Иван Наживин

Степан Разин. Казаки

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174414
Степан Разин(Казаки): ИТПК; Москва; 2004
ISBN 5-88010-195-9

Аннотация

Роман известного писателя Русского Зарубежья И. Ф. Наживина (1874—1940 гг.) «Степан Разин» («Казаки») является знаковым. В нем автор с огромной эпической силой показал трагические события, произошедшие во времена, когда конфликт между властью и подданными достиг апогея, создав яркий, правдивый образ Степана Разина, которому суждено было впервые в истории России зажечь пламя народного восстания против существующей общественной системы.

Содержание

I. На верху у великого государя	4
II. У себя	10
III. Соколиная потеха	16
IV. У князя Юрия Долгорукого	21
V. Два друга	28
VI. Вольница	34
VII. «Сарынь на кичку!..»	41
VIII. В Царицыне	46
IX. Вольнодумцы	52
X. Васькина песня	57
Конец ознакомительного фрагмента.	59

И. Наживин Степан Разин (Казаки)

I. На верху у великого государя

Шло лето от сотворения мира 7175-е, от Рождества Христова 1667-е, благополучного же царствования великого государя всея России Алексея Михайловича двадцать второе. На высокой колокольне Ивана Великого, возведённой ещё в годы народного бедствия и скудости заботливым царем Борисом Фёдоровичем Годуновым, пробило только четыре часа, а Москва златоглавая, вся в лучах восхода розовая, уже жила полною жизнью: как всегда, оглушительно шумели торги, купцы зазывали в свои лавки покупателей тароватых, с барабанным боем прошёл куда-то стрелецкий приказ, на страшное Козье болото, за реку, провозили на телеге на казнь каких-то воров, попы звонили к заутрене, по Москве-реке тянулись куда-то барки тяжёлые. И бесчисленные голуби, весело треща крыльями, носились над площадями...

Проснулся и кремлёвский дворец, прежний, старый, деревянный, в котором, не любя каменных хором, жил великий государь. Спальники, стольники, стряпчие, жильцы озабоченно носились туда и сюда по своим придворным делам; на Спальном крыльце уже томились просители; сменялся стрелецкий караул; сенные девушки, на половине царицы, с испуганными лицами бегали по дворцовым переходам со всякими нарядами для государыни и для царевен. Две успели уже поссориться, и боярыня-судия уже чинила над ними суд и расправу... А в опочивальне царской, низкой, душной комнате, со стенами, покрытыми тёмной тиснёной кожей, и потолком сводчатым, расписанным травами, постельничий с помощью постельников и стряпчих одевал великого государя. Было Алексею Михайловичу об эту пору только под сорок, но он уже обложился жирком и было в этом круглом, опушённом небольшой тёмной и курчавой бородкой лице, в этих мягких и ясных глазах и во всей этой фигуре что-то мягкое, ласковое, бабье. Он умылся, старательно причесался и прошёл в соседнюю Крестовую палату, всю сияющую огнями, золотом и камнями драгоценными бесчисленных икон. Там уже ждал его духовник царский, или крестовый поп, крестовые дьяки и несколько человек из ближних бояр. Поп благословил хорошо выспавшегося и потому благодушного царя, он приложился ко кресту и началась утренняя молитва. Алексей Михайлович истово повторял привычные, красивые, торжественные слова, – помолиться он любил, – а мягкие глаза его с удовольствием оглядывали привычную, милую его душе обстановку моленной.¹¹

Вот около иконостаса стоят золотые ковчежцы, а в них бережно хранятся смирна, ливан, меры Гроба Господня, свечи, которые сами собой зажглись в Иерусалиме от небесного огня в день Светлого Воскресения, зуб святого Антония, часть камня, павшего с неба, камень от Голгофы, камень от столпа, около которого Христос был мучим, камень из Гефсимании, где Он молился, камень от Гроба Господня, песок иорданский, частица дуба мамврийского. Рядом с ковчежцами стояли чудотворные меда монастырские в баночках, восковой сосуд с водой Иордана и от разных чудотворных икон со всех концов России, которою крестовый поп кропил царя и его близких. А вот последняя икона знаменитого иконописца Семёна Ушакова «О Тебе радуется...», – ах, и краснотелливо же пишет этот Ушаков!.. Такого иконописца, может, на всю Россию ещё нет...

А молитва – она шла всего четверть часа – уже кончена, и царь, приняв благословение, вышел из очень жаркой от огней и молящихся моленной в прохладные сени и с удовольствием вздохнул.

– Ну-ка, ты, Соковнин, сбегай-ка в хоромы к царице– обратился он к одному из молодых приближённых, – Узнай, как она почивала...

Но царица Марья Ильинишна уже поджидала своего супруга в своей передней. Они ласково поздоровались, царь любовно оглядел свою молодёжь, и уже все вместе они отправились в домовую церковь, чтобы отстоять заутреню и раннюю обедню, причем молодые царевны все и царевичи стали в особенно укромном уголке, где их не мог видеть никто. Опять хорошо, со вкусом, помолились и все прошли в столовый покой, где подкрепились – кто сбитнем горячим с калачом, а кто взваром клюквенным или малиновым...

Между тем в передней царской уже собирались бояре, окольные и разные ближние люди ударить челом государю. И едва вышел он в переднюю, как все бывшие там, знатнейшие люди царства Московского, поклонились царю в землю. Те, которые благодарили за какую-нибудь особую милость, часто кланялись так по тридцати раз подряд. Но царь никогда и шапки «против их боярского поклонения» не снимал – он всегда, и в покоях, ходил в царской шапке... Довольные, что увидели пресветлые царские очи, бояре окружили царя: авось обласкает он кого и словом своим царским...

В эту минуту ко двору царскому на двенадцати аргамаках, увешанных цепями гремучими, в золотом украшенной карете, вокруг которой бежало до двухсот скороходов и слуг всяких, подкатил кто-то.

– А, боярыня Федосья Прокофьевна!.. – улыбнулся Алексей Михайлович. – Никогда к поздней и минуты не опоздает...

Действительно, то была боярыня именитая Федосья Прокофьевна Морозова, самый близкий друг царицы Марьи Ильинишны, ещё молодая и чрезвычайно богатая вдова. Каждое утро она ездила так во дворец, чтобы отстоять вместе с царицей позднюю обедню.

– Ну, значит, и нам пора... – сказал государь и снова вместе со всеми боярами направился в домовую церковь к обедне.

– А я опять грамотку от страдальца нашего получила... – поздоровавшись с царицей, проговорила боярыня Федосья Прокофьевна, полная, бойкая женщина с круглым, миловидным лицом, намазанным румянами и белилами по тогдашней моде так, что глаза резало.

Ей и самой претило это мазанье, но не подчиниться моде и у неё, женщины исключительного характера, не хватало силы: когда тоже знатная боярыня княгиня Черкасская вздумала было перестать краситься, в обществе московском поднялся такой шум, что должен был вмешаться в дело сам великий государь и принудить боярыню подчиниться обычаю.

– Что же он, родимый, пишет? – участливо спросила царица, невысокого роста, очень полная женщина, похожая уже скорее на перину. – Как-то ему там, в Пустозёрске-то?

Речь шла о недавно сосланном в Пустозёрск вожде раскола протопопе Аввакуме, горячими поклонниками которого были обе – и царица, и боярыня.

– Да о себе-то мало пишет он... – сказала боярыня. – Всё больше о вере поучает... Очень он осуждает эти наши новые иконы. Ему любо, чтобы писали по-старинному, смугло и темновидно... Да вот, прочитаю я тебе, послушай... – сказала она и, достав грамоту из кармана, отыскала нужное место и медленно, по складам, начала:

– Вот. «По попущению Божию умножились в нашей русской земле живописцы неподобного письма иконного. Пишут они Спасов образ Емануила, лицо одутловато, уста червонные, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, также и у ног бедра толстые и весь яко немчин: только что сабли при бедре не написано...» Видишь, государыня...

– Ох, уж и не знаю как... – вздохнула простоватая Марья Ильинишна. – Кабыть не нашего бабьего ума дело...

– А тут у меня странный человек один был, так рассказывал, как его, протопопа, в ссылку-то гнали... – продолжала боярыня. – Господи, уж и мучили же человека!.. Идут, идут оба со старухой-то, упадут, а подняться-то силушки нету, так измучились. И взмолятся протопопица: долго ли мука сея, протопоп, будет? А страдалец и отвечает: до самой смерти, Марковна... А она, слёзы глотая, говорит: добро, Петрович, ино ещё побредём... – На глазах боярыни выступили слёзы. – Что только делают за истинную-то веру!.. В темницах давят, в срубах жгут, языки режут... И все тот, сын диавол, Никон натворил... Помирать вот буду и то ему не прощу...

– Государь в храм прошёл... – сказала маленькая и бойкая Софья, средняя дочь царицы. – Пойдём, матушка...

И все снова пошли в свой тайничок, откуда им было молящихся видно, а их – никому.

– Благослови, владыко... – бархатными волнами понеслось по храму.

И обедня началась...

И её царь и все приближённые отстояли так же легко, как и всякую другую службу: так день их шёл всегда, привыкли.

После обедни начался деловой день великого государя. Бояре снова прошли в приемную и в ожидании государя тихонько переговаривались. Но вот два стольника внесли в покой резное кресло и поставили его в углу на возвышении из трёх ступенек, обитых красным сукном. За стольниками вышли стряпчие: один нёс круглый, шитый шелками бархатный ковёр, другой атласную подушку, а третий вынес на серебряном блюде расшитый царский убрус.^[2] И все стали по бокам царского кресла. Минуту спустя вышел Алексей Михайлович, поддерживаемый под руки двумя боярами. В руках его был длинный чёрный посох. Едва появился он на пороге, как все бояре и чины ударили низкий поклон, царь ответил ласковым поклоном и сел на свое место.

– Здрав буди, великий государь... – снова били челом бояре.

– Здравы будьте и вы, бояре... – отвечал царь.

И снова бояре и все чины били ему челом. Обыкновенно по пятницам происходило собрание Боярской Думы, но на дворе стоял уже весёлый месяц май – пришёл Пахом, понесло тепло, – и многие из бояр отпросились уже в свои поместья и вотчины, а другие – кто на крестины, кто на свадьбу, кто на родину: в мае всегда так бывало. И сам Алексей Михайлович жил бы уже, как всегда об эту пору, в Коломенском, если бы не царевны, которые все переболели за последнее время какою-то болью в горле. Да и дожди всё это время стояли. И дел больших на сей день не было, так что у царя не было с собой даже его обычной записочки, на которой он заботливо отмечал, «о чём говорить с бояры».

В дни заседаний Думы бояре все садились в некотором отдалении от государя, а когда, как на этот раз, Думы не было, то бояре обязаны были все стоять, а когда уставали они, то выходили посидеть в сени или же просто на крыльцо. Там нужно было вести себя с сугубою осторожностью: всякое непристойное слово, сказанное на дворе государевом, – а за непристойным словом русские люди никогда не стояли, – а тем более ссора или драка почитались нарушением чести государева двора и строго преследовались Уложением. Там так и сказано было: «...а буде кто в государевом дворе кого задерет и с дерзости ударит рукою, и такого же тут же изымать и, не отпуская его, про тот его бой сыскать, и, сыскав допряма, за честь государева двора посадить в тюрьму на месяц. А кого он ударит, и тому на нём управить безчестье».

И думный дьяк, с гусиным пером за ухом и чернильницей на шнурочке, читал государю:

– ...А которые, государь, были посадские люди, ещё остались на Бело-озере, то из тех многие ныне, как приехал на Бело-озеро из Москвы дворянин Петр Хомутов, и атаман, и есаулы, и казаки, ноугородские челобитчики, для твоих, государевых, хлебных денег, и они

из достальных многие разбежались, дворяне и дети боярские, и бегают по лесам, а твоего государева указа не слушают, в осад (в город) сами не едут и крестьян своим ехать не велят...

– Не к делу ты это, дьяк, читаешь... – сказал Алексей Михайлович. – Это до Думы отложить подобало бы. Ну, да всё одно уж, читай...

Бояре внимательно слушали...

Был тут и старый именитый князь Никита Иванович Одоевский, равного которому по роду и заслугам не было здесь и нигде никого: это он лет пятнадцать тому назад, когда был он ещё казанским воеводой, Закамскую Черту¹³¹ от ногаев да калмыков построил, а до того с князем С. В. Прозоровским, да окольным О. Ф. Волконским, да двумя дьяками Гаврилой Леонтьевым да Фёдором Грибоедовым, Уложение выработал, которое дало Московскому царству закон и порядок. И князь Юрий Алексеевич Долгорукий, плотный, крепкий, с точно железным взглядом, был тут. Он председательствовал на Земском соборе, принявшем это Уложение, и только недавно вернулся из польского похода, был ратным воеводой. Старенький Трубецкой, которому только недавно пожалована была вотчина предков его, город Трубчевск, высматривал хитренькими глазками своими, нельзя ли как у великого государя выклянчить ещё чего. Величественно возвышался над всеми дородный князь Иван Алексеевич Голицын, по прозванию Большой Лоб, в голубых глазах которого сияла прямо детская невинность: князь до сорока лет даже грамоты никак одолеть не мог и, где нужно, вместо подписи ставил кресты. Но все чрезвычайно ценили его за эту вот представительность и за большую доброту: он никогда ни с кем не задибался, не так, как этот вот князь Хованский, который за местничество во время войны был приговорён царём к смертной казни даже, но был помилован и сослан в свои вотчины, откуда только недавно вышло ему разрешение приехать в Москву.

Конечно, как всегда, тёрлись тут и те, которых народ злобно звал «владущими», вся эта родня царёва: старый, худенький, с бородкой клинышком и жадными глазами Милославский, тесть царёв, и свояк царёв Борис Иванович Морозов. Они боялись даже на минуту оставить государя одного: а вдруг кто-нибудь другой перехватит его милости? Очень они царю надоедали, и совсем недавно во время заседания Боярской Думы он собственноручно оттащил за бахвальство своего тестюшку, надавал ему пощёчин и вытолкнул из палаты вон.

У окна задумчиво стоял Афанасий Лаврентьевич Ордын-Нащокин, недавно только подписавший с Польшей Андрусовский мир, невысокого роста, с смуглым, худощавым, иконописным лицом и прекрасными, большими, тёмными и немного печальными глазами. Родом он небольшой псковский дворянин, но был по своему времени человеком образованным, искусным дипломатом и за заслуги свои носил теперь титул «царственныя большой печати и государственных великих посольских дел сберегателя». Рядом с ним виднелся его большой друг Артамон Сергеевич Матвеев, человек худородный, – он был сыном дьяка, – но ставший очень близким царю, который дружески звал его просто Сергеичем. И. М. Языков, небольшой дворянин, но знавший хорошо языки и потому много раз езжавший в посольствах за границу, слыл «человеком великой остроты и глубоким московских прежде площадных, потом же и дворских обхождений проникателем», и с ним всегда советовались, когда встречались какие затруднения в дворцовом этикете. Князь Ромодановский, с которым царь любил играть в шахматы, как всегда, сдерживал зевоту: он томился всегда во время этих приёмов и заседаний, потому что ничего не понимал он в делах государственных и не интересовался ими. И был тут старый князь Черкасский и друг его, тоже старый боярин, Никита Иванович Романов, любимец москвичей, и задира Пушкин, который тут недавно едва не подрался с Долгоруким из-за мест, и Шереметев, и Салтыков, и сокольничий Ртищев, словом, почти все те, в руках которых была вся власть над Русью исстари...

Но Алексей Михайлович всё более и более привыкал царствовать «без вопрошания всенародного множества людей», и все эти важные, именитые вельможи в золотых шитых

кафтанах и высоких горлатных шапках были скорее пышной декорацией для царя, красивым обломком старины, чем действительными советниками и помощниками. Исключения были немногочисленны, и, по большей части, были они как раз не из именитых бояр, а из людей средних и даже худородных, как Ордын-Нащокин или Матвеев. И бояре примирились с этой ролью своей и говорили, что «великий и малый живёт лишь государевым жалованием». Они вершили в Думе лишь свои дела, и народ знал это и часто шла по Руси молва: боярам быть от земли побитым... И часто вспыхивали дикие народные мятежи, направленные против того или другого боярина-хищника, а в особенности часто против «владущих», родни царёвой, которые использовали свое высокое положение для бесстыдного и неслыханного обогащения...

Притомившийся царь сдержал зевоту. Начальник Челобитного приказа Репнин, крепко с красным лицом, лихой охотник и не дурак выпить, с улыбкой приблизился к государю.

– Челом бью, великий государь... – сказал он. – Замаял меня в отделку воевода твой царичинский, Унковский: опять от него челобитная.

– Опять на жену? – сразу повеселел царь.

– Опять на жену... – сказал Репнин. – Дозволишь прочести?

– Читай... А вы все слушайте, – обратился царь шутя к боярам. – Пусть всем в науку будет: не женись на молодой... Ну?

– Вот, сейчас, великий государь... – сказал Репнин, пробегая глазами челобитную. – «...Кусала она, жена моя, тело моё на плечах зубом и щипками на руках тело моё щипала и бороду драла. Ещё в бытность мою на Москве, против моего челобитья дьяк в Мастерской палате поругательство жены моей и зубного ядения на теле досматривал и в том же мне никакой указу не учинено. А она, жена моя, Пелагея, хотела меня, холопа твоего, топором срубить, и я от её топорowego сечения руками укрывался, и посекала у меня правую руку по запястью, и я от того её посеченья с дворишка своего чуть жив ушёл и бил челом, и опять указу никакого не было, а от той посеченной руки я навеки увечен. Да и впредь она, жена моя, хвалится на меня всяким дурным смертоубийством и по твоему государеву указу посажена она за приставы. И она, сидя за приставы, хвалится и ныне на меня смертным убийством. Милосердый государь, пожалуй меня, вели в таком поругательстве и в похвальбе ей, жене моей, свой царский указ учинить и меня с нею развестись, чтобы мне от нея, жены своей, впредь напрасною смертью не умереть...» И это уж не ведаю, в какой раз... Прямо смертным боем бьются...

– Вперед наука: не женись на молодой... – повторил, смеясь любительно, Алексей Михайлович. – Ну, что ж... Препроводи грамоту на Патриарший двор и пусть там учинят по правилам святых апостол и святых отец, чего доведётся...

– Вот тут ещё челобитная от крестьян села Ширинги есть, великий государь... – сказал Репнин. – Они уж и раньше на помещика своего челом били. Велишь прочести?

– Чти!

– М-м-м... – пробежая титулы и вступление, которые надоели царю от частого повторения, тянул Репнин. – Вот. «А господин наш, князь Артемий Шейдяков, приехавши в пожалованное от тебя, государь, село Ширингу, крестьянишек, что приходили к нему по обычаю с хлебом на поклон, бил, мучил и на ледник сажал. И, будучи женат, он, князь Артемий, брал к себе на постелю татарок от нехрещёных татар, а затем, взявши с нас, крестьянишек твоих, против твоего государева указа, сполна денежный оброк за год, отпишей в этом нам, крестьянам, не дал. Уехавши же в Самарский город, князь Артемий все оброки и одежду с себя пропил и проиграл весёлым жёнкам, после чего опять съехал на Рождество в село Ширингу, взявши с собой в деревню весёлых жёнок. Здесь он стал мучить нас, крестьянишек, смертным пражом в новых оброчных годовых деньгах и доправил с нас сверх оброку 50 рублёв денег, да 40 вёдер вина, да 10 вар пива, да 10 пуд меду. А у которых крестьян были нарочитыя^{4}

лошадёнки, тех лошадей он, князь Артемий, взял на себя. А которые крестьянишки на князя Артемия тебе, государь, челом били об его насильстве и неверном правеже, на тех похваляется он смертным убийством, хочет их позекати своими руками. И мы, сироты твои, не претерпя его, князя Артемия, немерного правежа и великой муки, разбрелись от него разно...»

– Прикажи воеводе самарскому розыск сделать... – сказал царь. – И нам, государю, обо всём отписать...

Доклады продолжались.

Князь Юрий Долгорукий осторожно мигнул Матвееву, и оба, выбрав минутку, вышли в сени.

– А что, я слышал, на Дону опять не слава Богу?... – сказал князь.

– Неладно на Дону, князь... – отвечал Матвеев.

– А государю уже известно?

– Может, сегодня доложит Афанасий Лаврентьевич... Он гонца оттуда поджидает...

– На воскресенье великий государь соколиную потеху назначил, – сказал Долгорукий, – так дома меня не будет. А вот давайте-ка соберёмся, хоть у меня, что ли, в понедельник после вечерни побеседовать по этому делу. Афанасия Лаврентьевича я позову, ты приезжай, Ртищева позвать надо, Одоевского... Упустишь огонь, не потушишь. И посоветуемся... Мне сказывали, совсем негожие дела там затираются...

– И я уж думал, что посоветоваться надо бы...

– На людей пока выносить дело нечего... – сказал князь. – Только всего и будем: мыста да выста да как великий государь укажет... А надо сперва накрепко помыслить про то дело промеж теми, кто работать хочет и умеет, а тогда уже и в Думе действовать... Так я тебе дам знать, когда и где соберёмся.

Было уже около полудня. Царь, наконец, поднялся и отпустил бояр по домам обедать, а потом, по обычаю христианскому, до вечера отдохнуть.

– А после вечера сегодня ко мне уж не ходите... – сказал царь. – Потому надо нам всем в Коломенское собираться, так распорядиться мне по дому надо, как и что...

Бояре били челом...

Боярыня Федосья Прокофьевна Морозова, распроставшись с государыней, уселась в свою золочёную карету, аргамаки подхватили, огромная толпа скороходов и слуг бросилась за каретой, и народ останавливался и дивился:

– Сама Морозиха... Должно, сверху, от великого государя едет... Ну и живут!..

II. У себя

Великий государь прошёл в соседнюю с передней комнату, которая так Комнатой и называлась: здесь Алексей Михайлович занимался, а часто и обедал, большею частью один, а то и с близкими боярами. Это был обширный, но уютный покой с небольшими оконцами, из которых открывался красивый вид на всё Заречье и на Стрелецкую слободу. В переднем углу стояло множество икон с расшитыми убрусами и золотыми лампадами. На почётном месте среди них, в дорогом окладе, стоял образ «Во гробе плотски» работы знаменитого Андрея Рублева. Под образами – рабочий стол, крытый алым сукном с золотой бахромой, а на столе прибор всякий: часы иноземные с переливчатым боем; чернильница серебряная; песочница и трубка, в которой перья мочат; серебряная свистелка, заменяющая звонок; зубочистка, уховёртка и несколько лебяжьих перьев. В другом углу стоит маленький шахматный столик. Вдоль стен тянутся низкие лавки, крытые бархатными расшитыми полавочниками, а между ними – поставцы разные, в которых хранятся любимые книги царя, бумаги разные, золотая и серебряная посуда, по большей части, любительные подарки от иноземных государей, и всякие затейливые фигурки из дорогих металлов и фарфора, маленькие сундучки, а в них вделаны: в одном – преступление Адама в раю, в другом – дом Давыдов и так далее. На одном из этих поставцов стояли большие, весьма хитрой работы заморские часы, – когда патриарх Никон был арестован, то князь Алексей Трубецкой с товарищи перебрал всю келейную рухлядь опального патриарха и все лучшее взял на себя великий государь, а в том числе и эти часы. Сто лет тому назад часы, или часомерье, возбуждали в москвичах великое удивление: «На всякий же час ударяет в колокол, не бо человек ударяше, но человековидно, самозвонно и самодвижно, страннолепно некако, створено есть человеческого хитростью, преимечтано и преухищрено». Но теперь просто часы уже не удивляли, они встречались чуть не во всяком богатом доме, – теперь ценились лишь часы работы исключительно затейливой: со знамены небесными, с действа блудного сына, с планиды и святцы... По стенам висели картины фряжские, большею частью религиозного содержания, и «парсуны», то есть портреты государей, а между ними в тяжёлой золотой раме – Большой Чертёж Земли Русской, то есть карта России. В углу, около входа, стояла изразцовая, красиво расписанная травами, людьми, конями, зверями диковинными и всяким узорочьем печка с лежанкой. И весь пол был устлан мягкими персидскими коврами.

Библиотека Алексея Михайловича была по своему времени довольно значительна: царь любил почитать. Но так как на иноземные языки был он не горазд, то у него все книги были исключительно русские, большею частью духовного или исторического содержания. Вот «Вертоград Королевский» Папроцкого, «История вкратце о Бохеме, еже есть о Земле Чешской», вот «Позорище всея вселенная или Атлас Новый, в нём же начертание и описания всех стран изданы суть», вот «Путешествие или похождение в Землю Святую пресветлосияющего господина, его милости Николая Христофа Радзивилла». Вот «Космография, сооружённая от древних философов, – описание государств и земель и островов во всех трёх частях света, где как живут люди и какие веры, и где родится и какая под которою земля данию и которое владение». Вот известный «Луцидариус, или Златый Бисер», в котором сведения из истории Ветхого Завета соединены со сведениями по географии, всеобщей истории, астрономии, ботанике, анатомии и богословию, тот Луцидарий, которого так не любил Максим Грек, звавший его Тенебриарием, «еже есть темнитель, а не просветитель: во множайших лжёт и супротив пишет православным преданиям». «Зерцало Богословия» Кирилла Транквилиана Ставровецкого смело стоит в библиотеке царской, хотя и подверглось оно запрещению от властей духовных как книга папистическая и было постановлено её «на пожарах сжечь, чтобы та ересь и смута в мире не была». А рядом с ней стоит «Сокровище известных

тайн экономии земской» и толстый том в кожаном переплете «Экономии Аристотелевой, сиречь Домостроения, с приданием книг двои, в которых учится всяк домостроитель, како имать управлять жену, чад, рабов и имения». Вот целый ряд переводов по вопросам религиозным: «Синтагма» Матвея Властаря, «Маргарит» Иоанна Златоуста, «Паренесис» Ефрема Сирина и многие другие, о которых часто можно было сказать словами неизвестного критика того времени: «Преведена необыкновенною славянщиною, паче же рещи, эллинизмом, и затем о ней мнози недоумевают и отбегают». Вот несколько трудов по военному делу: «Художества огненная и разныя воинские орудия ко всяким городовым приступам и обороне приличныя», «Вины благополучия на брани», «О вопросах и ответах, ведению воинскому благопотребных», а рядом с ними «Книга, глаголемая по-гречески Арифметика, по-немецки Алгоризма, а по-русски Цифирная Счётная Мудрость», «Селенография, еже есть луны описание и прилежное крапин ея и подвижении различных зрительного сосуда помощью испытанных определение», «Проблемата, то есть вопрошения разныя списания великаго философа Аристотеля и иных мудрецов, яко прирожденныя, тако и лекарския науки: о свойстве и о постановлении удов человеческих, а такожде и звериных». И были книги и для лёгкого чтения, как разные рыцарские романы или русская «Повесть зело предивная града Великаго Устюга купца Фомы Грудницына о сыне его Савве, как он даде на себе диаволу рукописание и как избавлен бысть милосердием Пресвятыя Богородицы».

Алексей Михайлович с удовольствием осмотрел эту свою привычную обстановку и, обратившись к ожидавшим его около накрытого посередине комнаты стола стольникам, проговорил:

– Ну, вот... А теперь с помощью Божией приступим...

Обернувшись к иконам, он внимательно, истово прочёл молитву и сел за своё столовое кушанье. Оно было более чем незамысловато: кусок ржаного хлеба, тарелка с солёными груздями да какая-то жареная рыбка. Царь отличался удивительною умеренностью в пище, а в особенности во время постов, когда он ел только три раза в неделю и так, что обедавшие у него раз заезжие греческие монахи долго потом с ужасом рассказывали о тех муках голода, которые испытали они при дворе царя московского. Согласно исстари заведённому обычаю кравчие и чашники отведывали от всех блюд и напитков государевых, чтобы царь видел, что никакого зелья к его кушаньям не примешано. И, запив свою скромную трапезу чашей легкого пива с коричневым маслом, царь встал, снова усердно помолился и сказал добродушно:

– Ну, вот... Бог напитал, никто не видал, а кто и видел, так не обидел...

Но тем не менее дворец царский поглощал ежедневно невероятные количества всякого добра: повара царские готовили каждый день до трехсот кушаний, а Сытенный двор отпускал ежедневно же сто вёдер вина и до пятисот вёдер мёдов и пива. Целый ряд так называемых дворцовых волостей работал на царский двор и ежедневно гнал в Москву обозами хлеб в зерне, овёс, пшеницу, ячмень, просо, коноплю, баранов, свиней, кур, яиц, сыры, масло, хмель и даже вожжи, рогожи, лыко, хомуты, оглобли, дуги, дрова и сено. Ведь на конюшнях царских стояло в Москве около 40 000 лошадей, а челядинцев всяких при дворце были тысячи!.. На царский двор тратилась десятая часть всех доходов Московского царства, не считая того, что отписывал на себя великий государь со всяких проштрафившихся людей, начиная от патриарха Никона до последнего мазурика, а также и доходов и приношений со всех этих дворцовых сёл и деревень, промыслов рыбных, соляных, зверовых и всяких прочих...

Точно так же, если сам царь жил всего в четырёх «покоевых» комнатах, то дворец царский всё же занимал очень много места в Кремле, так как в нём были такие же комнаты для царицы, для близких, для челяди, а кроме того, были и хоромы непокоевые, которые состояли из палат Грановитой, Ответной, Меньшей Золотой, Средней Золотой, Панафидной и других. Перед Средней Золотой было Красное крыльцо. В этих палатах стены и потолок

были обтянуты холстом и расписаны: там было изображено, как Господь несёт крест на Голгофу, там Моисей-пророк или Авраам праведный, а то – звездочётное небесное движение. Пол был выстлан дубовым «кирпичом», то есть паркетом, а то расписан аспидом, то есть под мрамор. А над всеми палатами были устроены на сводах верховые, или висячие, сады...

Покончив со столовым кушаньем, великий государь прошёл в свою опочивальню и завалился отдохнуть до вечере, как это делали все его бояре, торговые люди, приказный народ, мужики серые, вся Русь. Ежели же кто благой обычай этот нарушал, – как, например, Дмитрий Самозванец, – он сразу становился подозрителен в глазах московских людей – как человек, потрясающий основы и обычаи старины.

Восстав, великий государь с удовольствием умывался холодной водой, пил добрую кружку забористого квасу, затем снова принимал бояр и сперва шёл со всеми ними к вечерне, а затем занимался опять делами. Но иногда вечерних заседаний этих не было, и тогда царь проводил вечерние часы в среде своей семьи и с близкими из бояр: играли в шахматы, в тавлеи, в саки, в бирки, смеялись на проделки шутов и карликов, иногда читали что-нибудь назидательное и душеспасительное, а то и куранты, которые завёл по примеру иноземцев до всего дотошный Афанасий Лаврентиевич Ордын-Нащокин. Куранты эти были рукописные и заключали в себе новости из жизни за рубежом: о войнах, союзах, о пожарах больших, о трясении земли, о нарождении двухголового теленка и других примечательных событиях...

Куранты эти были данью той новой жизни, которая стучалась уже в двери, просачивалась во все щели быта и ломала потихоньку, незаметно сопротивление даже самых упорных «стародумов». Давно ли, кажется, купец Таракан выстроил близ Кремля первый на всю Россию каменный дом, на который москвичи сходились смотреть как на диковинку, а теперь в Кремле стоят уже каменные хоромы не только царя, но и именитых бояр. Давно ли этот гордый, неистовый Никон, патриарх, тайком выкрад у боярина Никиты Ивановича Ромашова иноземные ливреи, которые тот поделал для своих слуг, собственноручно изрезал их в куски, давно ли он самовластно сжигал у бояр вывезенные из заморских стран иконы и органы, а теперь уже во многих домах появились даже картины иноземные, даже зеркала, на которые десяток лет тому назад Церковь, а за ней и все благомыслящие люди смотрели как на дьявольское наваждение? Сто лет тому назад, при Грозном, дьяк Иван Висковатый восставал против росписи стен и указывал опасливо, что «в палате, в средней, государя нашего написан образ Спасов, да тоутож близко него написана жонка спустя рукава кабы пляшет, а подписано под нею блоужение, а иное ревность, а иное глоумление, а мне, государь, мнится, что то кроме божественно, о том смущаюсь». А теперь никого уже это не смущало, а наоборот, все любовались, дивились и у себя завести старались. Давно ли русские люди боялись воды, как – прости, Господи, – чёрт ладана, а теперь, по настоянию все того же неугомонного Ордын-Нащокина, иноземные мастера строили на Оке в Деднове первый русский корабль «Орёл», который вскоре по Каспию плавать будет, чтобы, в случае чего, чинить там промысел и над персами, и над черкесами, и над своими ворами...

Эта новая, немножко жуткая, но в то же время и веселящая душу жизнь просачивалась во все щели, но в то же время, казалось, нзыблемо стояла та, старая жизнь, которою, по завету предков и святых отец, жили люди государства Московского. Эта старая жизнь, размеренная и величаво-медлительная, была похожа на те торжественные шествия, которые по великим праздникам учинялись под звон всех сорока сороков московских царским двором, и все люди московские с великою жадностью смотрели на действие это и часто даже давили один другого до смерти, несмотря даже на цепи стрельцов, которые оберегали государское шествие от утеснения нижних чинов людей. И были дни этой старой, торжественно-размеренной жизни похожи на этих величавых бояр в кафтанах златотканых и высоких шапках горлатных, медлительных и важных...

Год открывался радостным днём 1 сентября, когда мужик уже обмолотился и обсеялся и всего на зиму заготовил по силе возможности, а на Москве царь в тот день осыпал верных слуг своих кого чином, кого казной золотой, кого поместьем или вотчиной. Вскоре начинался пост Рождественский и в Сочельник, ранним рано поутру, царь тайно, в сопровождении только небольшого отряда стрельцов да нескольких подьячих из своего Тайного приказа, посещал, исполняя долг христианский, тюрьмы и богадельни и собственными руками раздавал милостыню тюремным сидельцам, пленным, богаделенным, увечным и всяким бедным людям, которые во множестве караулили прохождение милостивого царя на всех перекрёстках ещё темной Москвы. А там Рождество весёлое, толстотрапезное, румяное и необычайная пышность шествия царя на Иордань в день Богоявления Господня, на водосвятие, а там шумный мясоед с его свадьбами пьяными и всяким козлогласованием и речами присольными, а за мясоедом широкая масленица, когда и царь в своем Кремле златоглавом, и какой-нибудь волжский судовой ярыжка в куренной избёнке своей ели жирные блины и веселились, прощаясь с радостями жизни. В Прощёное Воскресенье все, от самого знатного боярина до последнего нищего, просили один у другого прощения в грехах вольных и невольных и этим покаянием всенародным открывали строгую череду чёрных седмиц Великого поста, полных всяческих лишений добровольных, скорбных песнопений и тишины, которая пропитывала всю жизнь. В Вербное Воскресенье сам великий государь среди густых толп умиленного народа вёл за повод ослицу, на которой, знаменуя Христа, восседал патриарх. В Страстной четверг все – и во дворцах, и в лачугах – заготавливали четверговую соль благопотребную, выносили плащаницу святую в указанный день и час, а в полночь Великой субботы трепетно ждали светлой минуты торжественного Воскресения Христа, и христосовались братски, лобызались троекратно, и менялись алыми яичками, а в Радуницу светлую шли на могилки христосоваться со своими покойничками. В Троицын день вся Русь из края в край березками молодыми украшалась, на первый Спас мёдом душистым все разговлялись, на третий яблоками и так снова подходили к радостному дню 1 сентября, дню безмерной милости царской, которою живёт в государстве Московском всяк, от мала до велика, ибо всё Божье да государево...

Строгий и красивый, точно вековечный, чин жизни этой никем не был указан, никем не был записан и никогда, но всё же только разве самая отпетая голова какая-нибудь решила бы изменить хотя йоту в величавом течении этих дней медлительных и ярких, каждый по-своему. И Алексей Михайлович радостно подчинялся чину этой стародавней жизни, избавлявшему его от многих забот, и потому, когда пришёл час вечерней молитвы, снова охотно, хотя и позёывая, отправился он в свою Крестовую палату, где опять уже ждал его духовник и приближенные, и помолился истово, и, простившись ласково со всеми, направился, позёывая, в свою тихую опочивальню. Раньше, как помоложе он был, спал он, конечное дело, под теплым бочком лебёдушки своей белой, Марьи Ильинишны, но теперь, когда подрастали уже дочери, он почивал уже больше один. Да к тому же была сегодня пятница, день постный... Постельничий и спальники разули и раздели его, и один из спальников ложился тут же, в опочивальне для всякого бережения. А кроме того, до сорока человек жильцов оберегали сон царский во дворце, не говоря уже о многочисленных наружных караулах стрельцких. Затихала сонная, тёмная Москва, затихали царские хоромы, – только по стенам да по башням кремлёвским слышна переключка дозорных.

- Славен город Москва... – тянет один из дозорных на Тайнинской башне, внизу.
- Славен город Киев... – подтягивает ему в тон другой, влево, подальше.
- Славен город Новгород... – подхватывает уже чуть слышно вдали третий.

И так слава всего царства Русского обходит зубчатые стены Кремля в часы ночные. А там на башне Спасской куранты играть учнут и мерно пробьёт колокол часы. И за колоколом столько же раз ударят в свои колотушки сторожа ночные: не спим-де...

И в уютной, мягко осиянной лампадами опочивальне великого государя начинается новая, незримая, не комнатная, не выходная жизнь, а жизнь ночная, потаённая, иногда страшная и часто тоскливая.

И сегодня вот, не успел царь ещё и ещё раз окрестить изголовье, все углы и все окна и двери, не успел он утонуть в жарких перинах своих, как началась эта незримая, жуткая жизнь, от которой не избавлен ни единый смертный, кроме разве детей малых, неразумных. Гоже ли, в конце концов, что угнал он роскошного и властного патриарха Никона на Белозеро простым иноком? А может, то грех? Правда, озорной был человек, святого и того из терпенья вывести мог, а все же ведь патриарх всея России... Ладно, что Малороссию через Богдана опять с Великой Россией воссоединили, ладно, что почитай вся Русь уже под высокой рукой государей московских собралась, но вот всё бунтует там по украинам народ: режут тысячами жидов-нехристей, казаки-голоута против кармазинных, самостоятельных казаков восстают, все полозят слухи о происках – там польских, там турецких, там крымских. Да, но как же можно было Киев – мать городов русских – откуда вся Русская земля почала быть, в руках неверных оставить? Спасибо Ордыну, постарался, вернул... Вот закрепили опять же мужичонков к земле, сирот государевых, чтобы не бегали они от одного помещика к другому – кажется, и гоже бы, крепость, порядок, да, а они вот учили на Волгу бегать, на Дон, в Запорожье и всякие дикие украинные места да в разбойные и татиные дела вступать. Дело ли сделали?... Не ошиблись грехом в чём? И тревога извечная шевелится: земно, аки бы Богу, кланяются ему все эти бояре: Черкасские, Воротынские, Трубецкие, Хованские, Голицыны, Пронские, Салтыковы, Репнины, Троекуровы, Прозоровские, Буйносовы, Хилковы, Урусовы, а кто знает, что у них в душе-то? Разве не Трубецкой, забыв честь и Бога, баламутил тогда с казаками под Москвой? Разве не Шаховской, засев в Путивле, проливал кровь православную без жалости? Да и сами Романовы, родичи-то его, предки-то, не они ли извели царевича Димитрия в Угличе? Кто опрокинул Годунова-заботника? Кто извёл умницу и работника Скопина-Шуйского? Везде измена, кровь и великая во всем неверность...

И Алексей Михайлович тяжело вздохнул и повернулся на другой бок.

И на этот вот случай и жили при дворце верховые богомольцы, все эти домрачеи, бахари-сказочники, слепцы старые, старину живо помнящие.

Услыхав, что царь ворочается, очередной спальник, молодой Соковнин, приподнялся на лавке, где он лежал, и спросил тихонько:

– Не прикажешь ли, великий государь, кого из богомольцев твоих в опочивальню позвать? Али, может, устал от забот, так и без них започиваешь?

– Ништо... Позови какого-нито... – зевая, сказал царь, – Пущай...

– Тут от боярыни Федосьи Прокофьевны двое новых пришли... – сказал спальник. – Один старик, поп безместный, должно, а другой помоложе, просто странник. Больно, говорят, горазд старый-то всякое рассказывать...

– А ну, позови его...

Чрез короткое время в тихо сияющую лампадами и душную – окна все были закрыты – опочивальню царя впустили нового богомольца, худенького старичка в подряснике выцветшем, с поганенькой бородёнкой на постном морщинистом личике и живыми глазками, тихо светившимися в отблесках лампад.

Старичок разом, у порога, распростёрся на полу.

– Ну, ползи, ползи, старче... – ласково сказал царь, зевая. – Откелева ты будешь с дружкой твоим?

– Града настоящего не имамы, но грядущего взыскуем... – проговорил так же ласково старичок.

– Вон как... – проговорил царь. – Какого же это града взыскуете вы, Божьи люди?

– А какой, батюшка царь, откроется, какой откроется... – отвечал старик. – Наперед нам это не открыто. Поглядит, поглядит Господь на смятения-то человеческие, смилосердится и откроет в своё время...

Царь зевнул. Это было любопытно, но напрягать усталую голову не хотелось.

– А как зовут тебя отец?

– Евдокимом крестили, батюшка, Евдокимом...

– Сказывают про тебя, что ты рассказываешь гоже... – проговорил царь, опять зевая.

– И-и, батюшка царь... – скромно заметил старик. – Всю ведь Русь исходил и вдоль, и поперёк, всего насмотрелся, всего наслушался. И нестроения всякого много видел, и благолепия, и премудрости, и пусторни всяческой... Порассказать есть чего, это что говорить... Чего тебе, батюшка царь, желательно: божественного ли али, может, посмешнее чего?...

Алексей Михайлович очень не прочь был посмеяться и присказки и прибаутки всякие любил, но раскрываться так ему, царю, перед старцем незнакомым было негораздо, да и кроткое сияние лампад навевало на душу тихое, молитвенное созерцание, и потому он сказал:

– Нет, уж на сон грядущий лучше чего от божественного...

Старик подумал маленько.

– Вот расскажу я тебе старинное сказание про грешника одного, – сказал он. – В Киеве недавно слышал я его от одного чернеца... Только уж ты сделай милость, батюшка, повели сесть мне, а то ноги-то мои старые, натруженные плохо меня слушаться стали... – сказал он и, точно совершенно уверенный, что в этой милости царь не откажет ему, быстро опустился на пол и свернул под себя ноги калачиком. – Ну, вот... – вздохнул он и размеренным, ласковым, каким-то точно снотворным голосом настоящего бахаря начал древнее сказание о кровосмесителе...

Тихо было в опочивальне. Алексей Михайлович лежал с закрытыми глазами.

Стучали колотушки сторожей. Собаки заливались, лаяли. За Тайнинской башней, в кустах, над рекой запел соловей. А по чёрной зубчатой стене от времени до времени слышалось:

– Славен город Москва...

– Славен город Рязань...

– Славен город Володимир...

И Господь, среди звёзд, с удовольствием слушал о такой великой славе своего любимого, христоименитого, тишайшего царства Московского...

III. Соколиная потеха

Весело ликовало солнечное майское утро. Всё пело, всё сияло, всё цвело. Точно червонцами, засыпала весна зелёные луга золотыми одуванчиками да купальницей, в берёзовых перелесках распускался уже ландыш и, как невесты, разбрелись по широкой клязьменской пойме белые черёмухи. Царь Алексей Михайлович, лениво опустившись в седле, с удовольствием оглядывал свои любимые, заповедные места и изредка бросал какое-нибудь замечание ехавшим вокруг него охотникам-боярам. Охотничий убор всякого делает подбористее, молодцеватее, мужественнее, но в фигуре царя и теперь, на коне, по-прежнему было что-то мягкое, бабье, простоватое. Рядом с ним ехал казанец Шиг Алей, смуглый крепыш с плоским татарским лицом и умными глазками. Князь В. В. Голицын, молодой, статный красавец с дерзкими глазами, ехал слева от царя с секирой из слоновой кости в руке, а другой, князь Пронский, маленький, чёрненький и ловкий, держал булаву царскую, шестопёр. Ратный воевода князь Юрий Долгорукий рядом с царём казался особенно крепко сбитым, и быстры и тверды были его чёрные бесстрашные глаза. Могутный боярин князь Иван Алексеевич Голицын, краса московских бояр, ехал на дорогом белом коне рядом с сокольничим царским Федором Михайловичем Ртищевым. Бояре беседовали о чём-то, но князю Ивану Алексеевичу мешала напавшая вдруг на него икота. Он икал, как младенец, и, дивясь, повторял: «Ишь ты, вот, опять!.. Беспременно кто-то поминает меня... Кто бы это? Нешто княгинюшка?...» Потупившись и ни на что не глядя, ехал князь Прозоровский, пожилой боярин со слегка оттопыренными ушами, которые придавали ему несколько глуповатый вид, и с вечно красным носом: он всегда страдал насморком. Соколиной потехи он совсем не любил, – беспокойство одно, а какая в ей корысть? – но любил быть поближе к царю. Хитрово смеялся чему-то с Урусовым. А сзади всех и стороной ехал молодой князь Сергей Сергеевич Одоевский, племянник Никиты Ивановича. И наряд его, и конь сверкали богатым убранством своим, но сумрачен был молодой князь, и чёрные глаза его горели тёмным огнем. Он недавно женился на княжне Воротынской. По роду и богатству княжна была ему почти что в версту, – если вообще кто-либо на Руси мог равняться знатностью породы с Одоевскими, – и не было в сватовстве никакого обманства, как часто в те времена случалось: он взял то, что хотел. Но не прошло и нескольких месяцев, как богатые хоромы его опротивели ему из-за жены немилой. То на лежанке, зевая, целый день жарится, то на сенных девок пищит и по щекам их бьёт, то со своими шутихами, не покрывая зубов, ржёт, как кобыла на овёс. А слова человеческого какого и не жди от неё... А всё от воспитания дурьего. Вон у Артамона Сергеича Матвеева Наташа Нарышкина живет – хоть роду-то и непыратого, а поглядишь – царица... И сердце его вдруг согрелось...

А сзади бояр, поодаль, стремянные их ехали, сверкая роскошью нарядов и красотой и убранством коней...

– А вон и охота наша... – довольный, сказал Алексей Михайлович, когда они выехали из весёлого, полного весенней игры перелеска берёзового в заливные луга Клязьмы: в отдалении по-над берегом, на опушке рощи, стояла верхами в ожидании царя его охота, всего человек пятьдесят, – подсокольничий и все чины «сокольничья пути» – на прекрасных конях, в цветных, шитых золотом бархатных кафтанах. – Ну, вот и доехали, слава Богу...

И росистым лугом, наперекоски, царь с боярами направился к своей охоте. Сокольничий Ртищев на рысях опередил всех, чтобы посмотреть, всё ли в охоте в порядке...

Алексей Михайлович до страсти любил «полевую потеху» и «кречетью добычу» и не жалел на неё никаких денег. Ведал у него это дело приказ Тайных Дел, как ведал он и все другие личные дела царя: его безопасность, хозяйство, винокурение, откормку скота, будные станы, распространение богословских книг, благотворительность и даже государственную

ропись. Церковь, наряду со всякими другими человеческими утехами, порицала и соколиную охоту, но тут набожный царь с её взглядами не считался и, посмеиваясь, говаривал: «Ну, ничего, отмолят попы как-нито грехи мои...»

«И для той его потехи учинён был под Москвою Потешный двор, – рассказывает современник, – и на том дворе летом и зимою днюют и ночуют около птицы до ста человек сокольников. А честью те сокольники равны жильцам и стремянным конюхам. Они пожалованы денежным жалованьем, и платьем погодно, и поместьями, и вотчинами, и, будучи у тех птиц, они пьют и едят царское. А будет у царя тех потешных птиц больше трёх тысяч, и корм, мясо говяжье и баранье, идёт тем птицам с царского двора. Да для ловли и для ученья тех птиц в Москве и по городам и в Сибири учинены кречетники и помощники, больше ста человек, люди пожалованные же. А ловят тех птиц под Москвою и в городах и в Сибири над озёрами и над большими реками на берегах по пескам и, наловя тех птиц, привозят к Москве больше двухсот на год. И посылаются те птицы в Персию с послами и куда случится, и персидский шах тех птиц принимает за великие подарки и ставит их ценою рублёв по сто, по двести, по пятьсот, по тысяче и больше, смотря по птице, – тогда как корова в царстве Московском стоит два рубля, а холоп пятьдесят рублёв. Да на корм тем птицам и для ловли берут они, кречетники и помощники их, голубей во всём Московском государстве, у кого бы ни были, и, взяв, привозят в Москву, а в Москве тем голубям устроен двор, и будет тех голубей больше ста тысяч гнёзд, а корм, ржаные и пшеничные высевки идут с Житенного двора...»

Царь с боярами подъехал к своей охоте. Старый Ртищев, сокольничий, в красном с золотом наряде, в щегольских жёлтых сапогах, поклонился царю до земли и по чину, ещё прадедами установленному, проговорил:

– Время ли, государь, веселью быть?

– Время, Федя, время... – ответил Алексей Михайлович. – Начинай давай веселье...

Сокольничий подал Алексею Михайловичу богатую, всю расшитую золотом рукавицу и, взяв у почтительно стоявшего сзади него подсокольничего крупного белого кречета Буревой – птице просто цены не было, – в клубочке и колокольцах, посадил его государю на руку.

И, опять следуя старому-старому обычаю, сокольничий поклонился боярам и сказал:

– Честные и достохвальные охотники, забавляйтесь и утешайтесь славною, красною и премудрою охотою... Да исчезнут всякие печали, и да возрадуются сердца ваши... А вы, добрые и прилежные сокольники, – обратился он к своим подчинённым, – напускайте и добывайте!..

Царь улыбкой одобрил древний чин, и вся пёстрая толпа охотников в одиночку и небольшими группами поскакала по зелёным лугам в разные стороны: к болотцам, где держались утки и всякая другая водоплавающая дичина, к перелескам, где прятались тетерева и куропатки. Рядовые сокольники криком и длинными бичами торопили затаившуюся птицу на подъём, и охотники бросали вслед ей своих соколов, кречетов и ястребов.

– Что ты сегодня словно сумен маленько, князь? – проговорил мимоходом старый Ртищев, подъезжая к Долгорукому. – Али что?

– Да всё то же... – хмуро отвечал тот, оглянувшись на своего сокольника, который ехал вслед за ним. – Вчера опять в Успенском соборе подняли безымянную грамоту с печатью красного воска на Дон к атаманам и казакам. Призывают казаков на Москву, расправиться с боярами-лиходеями, московскими цариками... Я говорю, что нельзя медлить. Сухой соломы что-то уж очень много накопилось. Надо сговариваться...

– Слышал, слышал... – раздумчиво сказал Ртищев. – А царь знает?

– Афанасий Лаврентьевич с Дона гонца всё поджидает... – отвечал Долгорукий. – Нам надо потолковать сперва... – значительно добавил он. – Я уж говорил тебе. Только вот князя Никиту Иваныча видеть я ещё не удосужился. Я дам знать...

– Ладно. Я понимаю...

И они разъехались.

Федор Михайлович Ртищев, как и князь Ю. А. Долгорукий, «по записью» сидеть не любил, а принимал деятельное участие в строении Московского царства. Он не жалел денег на выкуп пленных, помогал нуждающимся, устроил в Москве скудельницу и приют для убогих. Во время войны с Польшей он лечил раненых на свой счёт, а по выздоровлении помогал им. Он был большим любителем до богослужения и до священных книг. Он основал близ Воробьёвых гор на свой счёт Андроньевский монастырь, а при нём школу. Учителями поставил он тридцать киевских монахов, «изящных в учении грамматики словенской и греческой, даже до реторики и философии хотящим тому учению внимати». А во главе училища стоял известный в ту пору Иосиф Славинецкий... Но Москва не любила Ртищева: он был прежде всего виновником введения новых медных денег, которые вызвали вскоре такую дороговизну и расстройство всего и закончились страшным бунтом и гибелью многих тысяч человек.

Князь задумчиво ехал лугами, за ним, с его любимым кречетом Батыем на руке, ехал его сокольник Васька, ловкий, статный парень с золотистыми кудрями, мечтательными голубыми глазами и весёлыми зубами. Контуженному польским ядром в руку князю трудно было самому напускать птицу.

Из кустов, из камышей, с воды – отовсюду поднималась испуганная непривычным шумом и оживлением заливных лугов птица, и сокола, кречеты и ястреба били её. И любо было глядеть, когда соколы брали птицу в угон или наперехват, но ещё краше было видеть, когда сокол взмывал в бездонную синеву неба и там, сжавшись весь в стальной комок, камнем падал сверху на намеченную жертву: сокрушительный удар, облачко перьев пёстрых и птица падала в изумрудную траву, под ноги коней. И снова, полный дикой радости, взмывал прекрасный хищник с гордыми золотыми глазами под облака. Иногда, разгоревшись, сокола упрямили и не шли к охотнику – тогда он, махая куском красного сукна, похожего цветом на свежее мясо, или же отрезанными птичьими крыльями, «вабил», наманивал своевольного разбойника. Другие сокола, в особенности молодёжь, разгоревшись, точно ослепнув от своей удали, теряли глазомер и разбивались оземь насмерть. А над солнечной, расцвеченной землёй, над головами всех этих скачущих ярко-пёстрых всадников металась в ужасе и тяжёлые криквы, и бойкие чирки, и краснобровые красавцы тетерева, и кулики длинноносые.

И вдруг из кустов, с лесного болотца, краем которого ехал великий государь, опасно курлыкая, поднялся с разбегу тяжёлый серый журавль. Заполыхало охотничьим огнём сердце царя. Но нет, выдержать надо: пусть наберёт журавль высоты, тогда и потеха будет настоящая, охотничья. А так неровен час и кречета убьёшь...

Журавль уходил. И вот, выдержав, царь бросил своего Буревого. Сразу пометив дорогу, но и небезопасную добычу, опытный кречет точно заколебался, соображая, а затем без всякого видимого усилия стрелой взмыл в солнечную высь. Сердце Алексея Михайловича замерло: вот-вот, сейчас!.. Буревого, едва видный, был уже под облаками, как вдруг из бездны неба наклонно полетел вниз, к журавлю, какой-то камень. Царь так и ахнул: другой!.. Но делать было нечего: чужой добытчик уже несея молнией к журавлю... Огромная серая птица в тоске смертной закинула назад свою длинную шею, чтобы встретить врага ударом своего сильного клюва, но тот сделал едва уловимое движение назад и – сразу влип в спину журавля между могучими крыльями. Журавль зашатался. Полетели и закружились перья. Ещё мгновение, и журавль, точно сломанный, закувыркался вниз, в луга. Кречет – то был Батый Долгорукого, – отлетел в сторону, но в это мгновение из-под облаков на него яростно ударил Буревого, и оба, сцепившись и нанося один другому удары острыми клювами и когтями, повалились в траву. Охотники с криками бросились к ним, разняли и надели колпачки.

– Хорош, хорош твой кречет, князь... – завистливо похвалил царь подскакавшего Долгорукого. – Нечего говорить – птица стоящая...

– Ничего, летает, великий государь... – небрежно отозвался воевода, восхищённо глядя на своего любимца.

– Хорош, хорош... – повторил ещё раз царь и ещё что-то хотел прибавить, как вдруг с зелёного болотца сорвался крякковый селезень. – Этого пусть уж Буревой возьмёт!.. – крикнул он. – Не замай потешиться...

Царь, раздумавшийся, точно помолодевший, поскакал за селезнем, а князь шагом отъехал с Васькой в сторону. У Васьки в тороках уже висел, вытянув длинную шею и раскинув крылья, журавль. Батый, в колпачке, чувствуя вокруг себя эту горячую охотничью суету, поскок лошадей, полёт птиц, крики сокольников и поддатчиков, сердился, пронзительно кричал, перебирал нетерпеливо по рукавице ногами и махал крыльями. Ветром веяло от размаха сильных крыльев в лицо Васьки, и он жмурился и смеялся.

– Ну, ну, буде... – повторял он ласково, сияя своими белыми зубами. – Налетаешься ещё... Ну, ну... Ишь, тожа надумал: с царским кречетом схватился!.. Да ну, буде, говорю.

Князя волновал злой и нетерпеливый крик его любимой птицы. Он пометил матёрого черныша, метнувшегося в чашу, и направился к нему. Он принял от Васьки кречета, и сокольник с трудом вытоптал из кустов затаившегося в страхе линиялого петуха. Сильный красавец, свистя крыльями, пошёл было низом наутёк. Освобождённый от своей шапочки, Батый снова взмыл вверх, но когда он бросился на косача, – у обоих охотников прямо дух захватило: того и гляди расшибётся!.. – тот побочил сразу в чашу и скрылся. Раздосадованный и точно сконфуженный кречет снова взмыл в небо и стал носиться в лазури широкими кругами, никак не желая спуститься на рукавицу. Васька всячески наманивал его, но кречет, точно дразня, уходил всё дальше и дальше.

«Не ушёл бы...» – опасливо подумал князь, решивший поднести своего любимца государю.

– Васька, смотри в оба!.. – строго крикнул он сокольнику, грозя ему издали плетью, и подъехал к скучливо ехавшему мимо князю Прозоровскому.

Васютка, всё вабя, старался не потерять из глаз Батыя и скакал за ним сперва этим берегом серебряной Клязьмы, а потом перебрался вброд на ту сторону и поехал душистой поймой. За Батыя он не тревожился: набесившись, налетавшись, умный старый кречет сам вернётся, как это было уже десятки раз. А конь вот уже притомился... И Васютка, нежась на солнышке, ехал все вперёд и вперёд, к Лосиному острову, который синей тучей затянул весь край земли на полдень... И вдруг, как это часто бывало с ним, в душе Васьки всплыло видение: будто степь зелёная, бескрайняя стелется перед ним и какая-то безлюдная путь-дороженька убегает по ней в даль безвестную, а при дороженьке стоит будто бы берёзка белая, молоденькая, одна-одинёшенька. Никогда Васька в степи не бывывал, никогда всего этого в действительности не видывал и потому всегда дивился: откуда это в нём? И всегда в таких случаях становилось сердцу его и сладко, и тепло, и тоскливо, и где-то в груди сами собой начинали складываться печальные и нарядные слова и – выливались в песне...

По размытой половодьем, в колдобинах, дороге, среди цветущей поймы шла к Сергию-Троице толпа богомольцев в одежде смиренной, в лапотках, с подожками. Все тела были под сумочками вперед наклонены, точно все они тянули за собой лямку какую-то незримую, и не видели эти глаза поймы цветущей, неба ясного, всей этой радости внешней, и дребезжащими, немного гнусавыми голосами, на старинный распев, в один тон, тянули они уныло, надрывно: «А-а-а... Госапади... Сапасе... а-а-а...» И стоял за ними тяжёлый дух: монастырским ладаном да воском, потом, онучами заношенными... Сзади всех шёл попик безместный, худенький старичок, отец Евдоким, что Алексею Михайловичу старое сказание о кровосмесителе рассказывал, а с ним рядом шагал дружок его постоянный, Пётр, чернявый жилистый мужик с чёрными, строгими глазами.

– Мир дорогой... – сказал Васька и так, от нечего делать, спросил: – А что, братцы, не видали вы кречета моего?

– Кречета? – поднял свою поганенькую бородёнку попик. – Как не видать, видали...

– Кое место?

– На Дону... – отвечал попик, и вдруг его постное, морщинистое личико растянулось в широкой, до ушей, ёрнической улыбке, обнаружившей жёлтые, редкие, изъеденные зубы. – Да, пожалуй, и не кречета, а самого орла...

Васька с недоумением посмотрел на него: не любил он людей, которые напрямки не говорят, а с вывертами.

– А ну тебя, с побасками-то твоими... – равнодушно отмахнулся он. – Его дело спрашивают, а он незнамо что городит...

– И я дело говорю, любезный... – сказал старичок. – Вот дай срок, прилетят сюда донские-то кречеты, не возрадуешься. Так пух и полетит... Ишь вырядился, ишь морду-то наел!..

– Да будет тебе, отец Евдоким!.. – остановил его строгий спутник. – И что это у тебя за обычай такой нескладный со всеми не в путь говорить?...

А Васька, всё шаря глазами по поднебесью, уже ехал поймой дальше. Дон, словно сказал он. Да, это там, в степях. И опять степь бескрайняя раскинулась перед ним, и дороженька, неизвестно куда пролегающая, протянулась, и берёзка одинокая при ней... И опять запросилась из сердца песня – незнамо о чём...

А по зелёной, нарядной, как невеста, земле, забыв все заботы и огорчения, весело скакали, гомонили и кричали разноцветные, сверкающие золотом, серебром и камнями самоцветными охотники, сокольники и поддатни, и носилась дикая птица, и тешили сердца свои бесстрашные кречеты и соколы, и бездонно было небо, и бескрайна привольная, синими далями своими манящая Русская Земля...

Вдали чуть слышно умирало надрывное: «а-а-а... Го-сапади... Сапасе... а-а-а...».

IV. У князя Юрия Долгорукого

На ленивом изгибе серебряной Москвы-реки стоял, весь в зелени цветущих садов, огромный, обнесённый высоким тыном двор князя Юрия Долгорукого; посреди двора раскинулись большие деревянные хоромы, срубленные из толстых сосновых балок и изукрашенные сверху до низу резьбой причудливой, цветными стеклами, которые только при Алексее Михайловиче и в употребление входить стали, и пёстрою росписью по стенам, ставням и даже по крыше: были тут изображены и птицы вещие, и зверь-единорог, и всадники скачущие, и петушки, и травы, и всякие чудища. В нижнем этаже хором, в подклете с маленькими окнами за железными решётками помещались богатые кладовые князя и самые близкие слуги его. Над подклетом, как водится, была горница, разделённая перегородками на четыре покоя – передняя, комната, крестовая и опочивальня, – а над горницей светлица или терем был, где у красных окон косячатых и проводила дни многочисленная женская половина семьи княжеской, занимаясь вышиванием золотом и жемчугом и для храмов Божиих, и для собственного обиходу, и молодым княжнам в приданое. Вкруг терема балконы налажены были, которые гульбищами назывались, а над теремом башенки, или смотрильни, подымались... Внизу, соединённая с горницей светлым и тёплым переходом, была огромная столовая комната, где часто шумели пиры: хлебосолен и ласков был князь, и часто съезжались к нему приятели скоротать вечерок за чашей доброго вина. А сзади хором самого князя помещалась женская половина, княгинины хоромы, куда не имел доступа ни один мужчина, даже родственники, если это были ещё молодые люди...

Весь огромный, на несколько десятин, двор был застроен множеством построек: тут были и избы людские для многочисленных холопов, и тёплая мыльня, и кладовки, и повалуши всякие, и хлебня, и клетки для хранения добра всякого, и летняя поварня, и конюшни, и скотный и птичий дворы. И старый сад, весь теперь в цвету, манил в свою душистую нарядную тень, а пониже, к реке, протянулись тучные огороды, только что, на Ирину-рассадницу, засеянные. Вдоль высокого тына пышно цвела черёмуха, и курчавилась резная красавица-рябина, и пышно разрослись густые кусты калины-ягоды. Посередине сада, как огромное зеркало, сиял пруд проточный, в котором водилось много всякой рыбы, и шла неустанная возня птицы домашней, уток и гусей с их выводками. Ни днём, ни ночью крепкие дубовые ворота не отпирались, а ночью, кроме того, старый Агапыч, живший в караульной избе, – воротнею называлась она, – спускал с цепи огромных, звероподобных собак с зелёными, от вечной ярости, глазами. Над воротами, как полагается, висел большой образ Нерукотворенного Спаса в золочёном киоте и с большой лампадой.

На Западе в средние века путник трепетал перед всяким замком, который он встречал на пути, – в Москве того времени для прохожего были опасны такие вот усадьбы: бесчисленная, часто дурно содержимая и всегда праздная дворня часто нападала на прохожих и грабила их. По Дмитровке, например, не было ни проходу, ни проезду от дворовых людей Стрешнева и князя Голицына. Иногда дармоеды эти не останавливались даже перед убийством. У богатых бояр, кроме того, жили, как и у польских богатых панов, многочисленные «знакомцы», которые всячески угождали своему «милостивцу». Юрий Долгорукий не терпел «бездельных», как он выражался, людей, и всё это у него было сведено до минимума, и дворню свою он и содержал хорошо, по-хозяйски, и держал в ежовых рукавицах.

Отдохнув после обеда, князь напился холодного мёду и вышел на высокое, изукрашенное всякой росписью и резьбой, крыльцо с пузатыми колонками. Одет он был в светло-лиловый зипун и нарядный терлик, а на бритой, по татарскому обычаю, круглой голове его была надета расшитая жемчугом тафья. Было время ехать к вечерне, но хотя князь и крепко придерживался старинки, тем не менее простой, но здоровый ум его не давал ему возможности

быть слепым рабом обычая: раз встречалось нужное дело, то вечерню можно и отложить. А дело было большое: негоже на Руси дела опять оборачивались. Надо было с кем поумнее совет держать, «помыслить к тому делу дать способ». И не только нужны были люди поумнее, одного ума тут было мало, а и такие, которые были бы поближе к царю, голос которых был бы на верху услышан. Большинство царедворцев были подобны тому придворному, о котором сказал Саади: «Если бы ты так боялся и почитал Бога, как своего государя, то ты был бы ангелом ещё при жизни». Этих вот ангелов князь не терпел, презрительно звал их трутнями и избегал всякого дела с ними. Он долго колебался, позвать ли Милославского и Морозова, но потом решил пока их не звать: хоть и влиятельны были они у царя по родству, но крепко не любил их народ. И царь, видимо, стал тяготиться ими всё больше и больше. Да и сам князь не любил этих хапуг, из-за которых было столько смуты в государстве. И вообще он решил идти вперёд поосторожнее и на первый случай позвал только князя А. И. Одоевского, который, однако, что-то занемог и приехать не обещался, окольничего Ф. М. Ртищева, боярина Ордын-Нащокина да Матвеева, людей совсем другого лагеря, неименитых, но для которых ухо царя было всегда открыто и которым судьбы Родины были близки, как и ему.

Дождаясь гостей, князь хотел было разгуляться в саду и уже стал спускаться с крыльца, как у ворот послышался стук железного кольца. Старый Агапыч выглянул в сторожевое оконце и, тотчас же широко распахнув ворота, с низким поклоном впустил во двор боярина Афанасия Лаврентьевича Ордын-Нащокина, Артамона Сергеевича Матвеева да нащокинского стремянного, крещёного татарина Андрейку, невысокого степняка с раскосыми глазами на смуглом лице. Хотя и наряд гостей, и убранство их коней были скромны, но Агапыч принял лошадей с низкими поклонами: слух о силе двух друзей этих на верху, у государя, дошёл и до старика.

Князь не торопясь спустился с лестницы навстречу гостям, приветствовал их и рундуком повёл прямо в сени горницы, а оттуда в свою комнату, всю застланную пышными коврами. Весь передний угол был уставлен дорогими старинными иконами под расшитым убрусом и пеленами. Полавочники, прикрывавшие широкие лавки, были шёлковые, пышно расшитые золотом, а столешник на дубовом резном столе был тяжёлого малинового бархата, тоже по краям весь расшитый. В поставцах вдоль стен было много жалованных кубков и всяких других дорогих любительных подарков, но картин и зеркал по стенам ещё не было: Церковь всё ещё косилась на это, а князь супротивничать зря и выставяться не любил. Но вообще хоромный наряд у него был богат, солиден и в глаза не лез – словом, такой, как по его положению на Москве и полагалось.

Не успели хозяин и гости, помолвившись на иконы, ещё раз обменяться приветствиями и вежливо, неторопливо, степенно осведомиться друг у друга о здоровье, а потом о здоровье и благополучии семейных, как в сенях послышались бодрые, твёрдые шаги и дворецкий с низким поклоном впустил в комнату Ф. М. Ртищева. Широкий старик с упрямым лбом, крепко сжатыми челюстями и угрюмыми бровями, истово помолился и отвесил низкий поклон сперва хозяину, а потом и каждому из гостей. Опять начались неторопливые расспросы о здоровье всех чад и домочадцев.

– Ну, вот что, гости дорогие... – проговорил князь радушно. – По погоде надо чествовать вас в саду, в шатре. Там уже приготовлено всё. Милости просим, Фёдор Михайлович, Афанасий Лаврентьевич, Артамон Сергеевич... Жалуйте... Обида вот только, что князь Никита Иваныч занемог что-то: теперь вы, люди новые, совсем меня, стародума, закроёте...

Медлительно, спокойно все спустились в цветущий сад, где среди вековых дубов был раскинут большой, белый, красиво расшитый и разубранный зеленью шатёр.

– Милости просим, дорогие гости...

Слуги, остриженные в кружок, в алых зипунах, перехваченных шитыми поясами, в чёрных бархатных кафтанах, в сафьянных, тоже расшитых, ичетыгах,¹⁵¹ с низкими покло-

нами раскинули крылья палатки и пропустили гостей. Посередине палатки стоял небольшой стол, блистающий дорогими ендавами, кувшинами, кубками, чашами и ковшами. Перед княжеским местом стояла золотая жалованная чаша, по ободу которой золотой вязью было выписано: «Чаша добь человеку, пить из нея на здравие, хваля Бога про государево многолетнее здоровье». Были тут и знатные меда русские, которые так хвалили иноземцы, и золотое венгерское, и романея, русскими любимая, и ренское, и мальвазия – охотничий погреб князя славился на всю Москву. На золотых блюдах и торелях лежали пряники, коврижки всякие, пастила душистая, леденцы, а также фрукты в меду и в сахаре. Князь посмотрел умным, говорящим взглядом на лица гостей и, точно приняв какое-то решение, обратился к слугам:

– Мы управимся одни... Вы идите все. Я позову, когда нужно. И ты, Михей, иди тоже... – сказал он почтенному лысому с кругленьким брюшком дворецкому. – Пусть только будет где-нибудь поблизости Стигнеич...

С низким поклоном все слуги удалились.

– Может, лучше, князь, и Стигнеича твоего... того... – значительно двинул своими суровыми бровями Ртищев.

– Да он немой!.. Или ты забыл? – сказал князь, бережно разливая в кубки вино. – А кроме того, он на руках меня выносил... Ничего...

– Нынче всех опасайся... – сказал сокольничий. – Бережёного и Бог бережёт. Качается весь мир...

– Да, люди другие пошли... – согласился князь. – Вот намерены, как были на охоте соколиной, у моего сокольника Васьки кречет ушёл...

– Батый?! – ахнул Ртищев.

– Батый... – сказал князь. – Главное, не столько птицы мне жалко, а обидно: поднести государю кречета я хотел, очень он ему полюбился...

– Цены птице нет – это уж я тебе говорю!..

– Ну, вот... Вернулся Васька к ночи: нет птицы... И велел я с досады постегать его маленько на конюшне. А сёдни поутру и докладывают: убёг Васька и никаких следов не оставил. Правда твоя, боярин: закачался мир... Ну, однако, всё требует порядка... – грузно встал он и, подняв свою чашу, проговорил: – Во здравие великого государя...

Все поднялись, чокнулись и осушили чаши, как полагалось, до дна. Князь снова взялся за кувшин.

– Ну, однако, князь, меня ты не очень потчуй... – сказал Матвеев, подставляя свою чашу и глядя на хозяина своими мягкими голубыми глазами. – Ты знаешь, питух я плохой...

– Да и я не из хороших... – улыбнулся своей слабой улыбкой Ордын. – Ты уж не взыщи на нас, князь...

– Знаю, знаю... – засмеялся князь. Неволить не буду. Вы хоть пригубливайте помаленьку, чтобы нам вот с боярином Феодором Михайлычем стыдно не было... И в кого вы, новые, только пошли, погляжу я... Совсем жидкий народ... Ну, а между прочим, какие последние новости с Дона?

– Негоже на Дону... – сказал Ордын. – Атаман их, Корнила Яковлев, дал знать мне в Посольский приказ, что поднялись там все голутвенные люди и сперва хотели было в Чёрное море на разбой выйти, но поопасались азовских турок. И, погалдевши в досталь, решили идти на Волгу и уже прогребли, как пишет Корнило, на своих стругах мимо Черкасского городка вверх. А позавчера пришла грамота от Унковского, воеводы царицынского, который пишет, что воровская ватага всё ещё на Дону, выше Паншина-городка, меж рек Тишины и Ловли, стоит на буграх, а около тех бугров вода большая, и про них-де, подлинно проведать и считать, сколько их человек, и у них стругов, и какие струги, не мочно, и языка у них поймать за большой водой нельзя... Но только всё это, должно, уж переменялось: грамота

эта по случаю водополья шла почти семь недель, так что куда за это время передвинулся Разин, неведомо...

– Разин? – нахмурился князь. – Какой Разин?

– Атамана голутвенных зовут Разиным, Степаном, а кто он такое, не ведаю...

– Погодите... – сказал князь. – Как я с ляхами воевал, были у меня в войске и донцы со своим атаманом Иваном Разиным. Ну, да, так... Подошла осень, холода, и вот является ко мне Разин и говорит, что донцы требуют-де отпустить их по домам. Как так по домам, так твою и разэдак?! – грянул я. – На печь к бабе захотел? Эдак и все бы разошлись... Не сметь о том и думать!.. А он, Ивашка, эдак невежливо и говорит: мы-де казаки, проливаем кровь за его государское здоровье добровольно и удерживать нас ты, воевода, не можешь... Я скажу-де казакам, что ты ругаешься, а они там как хотят... Ну, ушёл... И вдруг к ночи прибегает ко мне жидовин один: казаки в ночь уходить своей волей собираются!.. Сейчас же я приказал рейтаров и драгун на всякий случай изготовить и следить людей поставить. А как только казачки зашевелились, я цап атамана да старшину да в оковы, а Разина тут же перед казаками за измену государеву делу повесить велел... Ну и повесили... Так это, значит, который-нито из его братьев – помню, что у него братья в войске были, – баламутит. Ну да Корнило Яковлев парень толковый и свое дело знает. Лет пять тому назад подняли было там бунт Ивашка да Петрушка какие-то и городок тоже свой под Паншиным же поставили, а приказали отсюда Черкасску покончить дело, и враз всё было покончено...

– Нет, князь, на этот раз дело обстоит хуже... – сказал Ордын. – Вот мимо Черкаска-то прогребли они всего на четырёх стругах только, а теперь, как идёт слух, – он скорее воеводских грамот доходит, – у Разина уже за тысячу человек перевалило, и со всех сторон тянется к нему голытьба. И как шли они Доном вверх, так всех хозяйственных казаков пограбили да повыжгли...

– И на Корнилу Яковлева рассчитывать особенно не приходится... – поглаживая свою красивую рыжеватую бороду, тихим, как всегда, голосом проговорил Матвеев. – Если вся эта голытьба очистила Дон, то это всё, что домовитым казакам требуется, и задерживать её они не станут. Голытьбы там за последнее время скопилось очень уж много, и народ прямо голодал: того царского жалованья, что посылает Москва Дону, – и хлеба, и одёжи, и воинского припасу, – на всех уже не хватает. Я думаю, что боярин Афанасий Лаврентьевич прав: дело там затирается не на шутку. И из Астрахани, и из Чёрного Яру, и из Саратова, и из Самары – отовсюду пришли от воевод грамоты, что на Волге неладно, а мы, известное дело, отписали им, чтобы жили воеводы с великим бережением, а где воровские казаки объявятся, посылали бы на них для промысла служилых людей... Тревоги много, а толку мало. Разин, бояре, не войском своим голым опасен, а тем, что чёрный народ и все молодшие люди на его стороне. И у Хмельницкого Богдана войска немного было, а стал народ на его сторону, и кто ведаёт, может, Польша никогда уж и не оправится от того удара, который нанёс ей Богдан...

– Ну, от этого удара и нам что-то всё неможется... – усмехнулся Ртищев. – Все тогда на Раде орали: водим под царя восточного, православного, а теперь опять вся эта Украина котлом кипит и, того гляди, опять всё загорится. Воистину, шатается весь мир...

– И, сказывают, Разин круто принял людей, которых послал к нему воевода царицынский... – сказал Ордын. – Он прямо потребовал, чтобы ратных людей против него не посылали, а то-де потерю всех их напрасно, а Царицын город сожгу. Он распускает слух, что идёт он за Волгу против калмыков воевать, но это только отвод глаз один... Он слышит за собою силу и поднялся на большие дела. И там, на низу, если не все это понимают, то многие грозу сердцем чуют...

– И что любопытно, так это слух, что с Бела-озера прибежал... – сказал Ртищев. – Да и не слух – напрямки говорить надо: в приказ Тайных Дел донесли с Бела-озера, что туда, в Ферапонтов монастырь, к бывшему патриарху нашему Никону заходили трое людей каких-

то, – будто, вишь, на богомолье в Соловки шли, а по пути и к Никону заглянули. И будто звали те люди Никона на Волгу для больших дел: был-де ране Никон патриарх всея Руси и собинный приятель царёв, а теперь-де простым чернецом стал, так, может, захочет-де свою обиду на боярах выместить... Ну, только Никон на ту воровскую прелесть не поддался, – хитёр старик... – на Волгу не пошёл, а стал говорить всем близким, что большие-де смятения и кровопролития на Руси будут скоро, что было-де ему от Господа в том видение...

И чтобы скрыть свою улыбку, Ртищев – он не любил Никона, – поднял чашу...

– Разбойный приказ завален грамотами о разбоях и татиных делах... – продолжал Матвеев. – Такого разбоя, как теперь, на Руси словно никогда ещё не было: жгут, грабят, убивают везде. И на Москве по ночам пошаливать стали крепко. Посылаем сыщиков наших дознаться обо всём, так от них города и деревни стонут хуже, чем от татей да разбойников. Пытают, жгут на огне, головы рубят, деньги вымучивают, а уедут, так там, где одна воровская шайка промышляла, начинают промышлять ещё две. Как можно вывести разбой, когда разбойничье дело для воеводы и приказных первое лакомство? Сколько раз пробовали передать его губным старостам – нет, воеводы ни за что из рук выпустить его не хотят...

– А губные старосты из другого теста деланы, что ли? – усмехнулся князь. – Тех же щей да пожиже влей...

Тем же воеводам часто царь наказывает при сборах денег народ от его выборных да от богатых мужиков-горланов охранять. Так вор вора и стережёт – ха-ха-ха!..

– Так то-то вот и есть...

– Вся беда в том, что нету в правительстве руки твёрдой... – сказал Долгорукий. – Вот сейчас завозились донцы – пошли туда ратную силу да ударь так, чтобы они об этих своих вольностях на веки вечные позабыли. А у нас государево жалованье посылают. И не совестно!.. Ведь это просто-напросто дань. И кому же? Беглым холопам!.. Вот я тогда повесил Ивашку Разина, и сразу хвосты поджали и воевать стали.

– А отрыгнулось вот теперь... – тихо вставил Ордын, глядя своими лучистыми глазами на узоры своей золочёной торели. – Кто знает, может, Степан за брата и поднялся?...

– И опять ударь, да так, чтобы только мокро осталось... – стукнул князь по столу своим жилистым волосатым кулаком. – Тут выбору нет: или меня на кол, или я его на верёвку...

Он вдруг поднял голову и прислушался, затем быстро встал, решительными шагами вышел из шатра и остолбенел: его старый Стигнеич, прислонившись к корявому стволу могучего дуба, сладко дремал, а у самого шатра тёрся, глядя по вершинам деревьев, татарин Андрейка, стремянный Ордына.

– Тебе что здесь надобно? – грозно крикнул князь. – А?

– А вон, бачка, кричет тут чья-то всё летает, бачка... – заулыбался всеми своими белыми зубами татарин. – Может, твоя, бачка, кричет. Вот сичас тут на дубу была, бачка.

– Так где же он?

– Не знаю, бачка... Сичас вот тут была, бачка...

Князь пристально посмотрел на него своими стальными глазами.

– Иди прочь!.. А ты, старая ж... чего спишь? – крикнул он на растерянного Стигнеича. Красный и сердитый, он вошёл в шатёр.

– А ты, боярин, присматривал бы за своим малайкой... – садясь, сказал он Ордын-Нащокину. – Не по душе мне что-то морда его. Больно уж что-то ласков... Ну, за здоровье моих дорогих гостей... – поднял он чашу, а затем, вытирая густые усы, продолжал: – Что мир качается, это и слепые видят. Значит, нужна железная рука, чтобы качание это остановить и всё на своё место поставить.

– А не лучше ли сперва разобрать, отчего он качается, а затем, ежели то в силах человеческих, устранить то, что не дает ему покоя?... – задумчиво сказал Ордын.

– Не один ты так мыслишь... – усмехнулся князь. – И Артамон Сергеич вот с тобой, и Голицын Василий, и Черкасский, и Романов Никита... Толковый вы народ, но только там, где надо тушить пожар, вы будете год рассуждать, отчего загорелось...

– Не отчего загорелось, князь, а отчего всё загорается снова... – поправил Ордын. – Мы тушим, а огонь всё выбивает снова... Ведь вы подумайте: с самой смерти Годунова, больше полвека уж, народ покоя не знает... Не успел он и пяти лет процарствовать, как в северской стороне Хлопко Косолапый бунт поднял. Только его усмирили, те, кому это нужно было, Дмитрия воскресшего подсунули, хотя Москва Борису Фёдорычу уже присягнула. Расправились с Дмитрием, посадили Шуйского, за ним Владислав полез, и шведский королевич, и тушинцы, а на Путивле Шаховской крутил, под Москвой Трубецкой баламутил. Управились, посадили Михаилу Фёдоровича – словно бы конец. Нет, по всей Волге казаки воруют, на северской стороне лесовчики громят, а шиши чуть не под самые стены Москвы подходят. В 1648-м году Москва, Устюг, Козлов, Сольвычегодск, Томск поднимаются, в 1649-м на Москве закладчики шумят, в 1650-м Псков и Новгород, а там на Дону всё шум идёт, из-за Никона смута и шатание великое пошло, а там все эти бунты в Москве и в Коломенском. А война с Польшей, а мор этот страшный, а шведы, а усмирение черемис да чуваша, а беспокойство постоянное от крымчаков да от степных людей?... Не то диво, что трудно нам, а то диво, как ещё живы мы. И всего страшнее вот это внутреннее шатание наше...

– Вот... – стукнул князь по столу кулаком опять. – Вот с чем в первую голову управиться надо, а шведы, да поляки, да степь тогда страшны нам уж не будут...

– Да как нам с этим справиться, когда всё оно от нас и идёт!.. – слегка зарумянившись, воскликнул Матвеев. – Крутить по-лисий хвостом туды и сюды нечего: надо напрямки говорить. Народу-то ведь житья нет. Ведь всякий воевода-то для него страшнее Золотой Орды. Сам, чай, помнишь, князь, сколько смеху наделала челобитная князя Звенигородского, когда он на Бело-озеро на воеводство просился: воевода-де там уж второй год сидит, так, чай, сыт-де. Теперь меня-де припустите подкормиться... Да что там воевода! С каким-нибудь захудалым приказным и то ничего не поделаешь! Суд? Сунься и уйдешь голый... Ведь надо и дьяков задарить, и подьячих, и сторожам на пироги да на квас дать, и всех холопов у дьяков оделить надо... Когда его сажают в приказ какой или там судьей, он целует крест с великим проклинательством, что по правде судить будет, а на другой день он всё это уж ни во что поставляет и руки свои ко взяткам спутает... А поборы с народа в казну? А что делают с мужиком иные вотчинники да помещики? Э, что там говорить!.. Всё это ты не хуже меня знаешь, князь...

– А что делать с этими поборами, когда в казне государственной денег нету? – сказал Ртищев. – И на ратное дело нужно, и на строение городов, и на приказы, всего и не сосчитаешь.

– С голого и десять латников рубахи не снимут, боярин... – сказал Матвеев. – Оттого и отчаялся народ. И разбегаются кто куды. Вот недавно говорил я с немчином неким, так дивился он, как скоро мы наши украинные, порубежные места, пустыни заселяем, какой выде народ упорный да толковый. А я, вот истинное слово, чуть не засмеялся: того немчин не понял, что это мы все от Москвы, от самих себя, разбегаемся. Убежит он куды за Черту, – ни татар, ни ногаев, ни лихих людей не боится, только бы от нас уйти! – отдохнёт годок-другой, а там власть опять его нагоняет, и опять мытарства всякие да разорение начинается, и опять он бежит. А немчин дивуется: какие молодцы!.. Да, на Черте, и за Чертой, и на Дону, и в Запорожье, и в Сибири, за буграми, народ, а под Москвой деревни пусты стоят. И получается не жизнь государственная, а одно плюгавство... И добро бы мужики одни бегали – дворяне и дети боярские и те от московской волокиты казаковать бегут!

– Твое здоровье, князь... – поднял чашу Ртищев, и, когда все выпили, он обратился к Ордыну и Матвееву и сказал: – Ну, так в одно слово говорите: что же, по-вашему, нужно, чтобы это шатание земли остановить?

– Закон нужен для всех один... – сказал Матвеев.

– И ученье... – прибавил Ордын тихо и как будто не очень твердо.

– А Уложение вам не закон?

– Закон теперь, что дышло: куда повернул, туда и вышло... – сказал Матвеев. – А надо, чтобы лутчие люди пример показали, как на законе стоять во всяком деле надо...

– О-хо-хо-хо... – вздохнул покрасневший от вина Долгорукий. – Чует моё сердце: не сносить нам головы!..

– Князь, мы не перечим тебе... – сказал Матвеев. – Мы не говорим, что воров по головке гладить надо. Но только одно мы говорим: одними виселицами да батогами крепости земле не дашь...

Солнце садилось. Вся земля залилась тихим золотистым сиянием. Вокруг пели зяблики, скворцы, пеночки, малиновки. С весёлым щебетанием носились по усадьбе ласточки. На реке слышались детские голоса... Заговорили о порядках иноземных. Князь сурово осуждал это чужебесие и говорил, что то, что для немца здорово, то для русского смерть. Матвеев горячо, а Ордын спокойно и немножко точно печально защищали, что доброму везде учиться можно, и приводили целый ряд исторических примеров, которых так не любили стародумы: о том, как строил Иван III своими каменщиками Успенский собор, и как собор рухнул и пришлось звать из Венеции Аристотеля Фиораванти, о том, что Иван IV легко и много побеждал на Востоке, но всегда был бит – как и мы же – на Западе, о том, что сами иноземцы понимают, как им опасно дать Руси свободный ход на Запад: разве забыл князь письмо Сигизмунда польского к аглицкой королеве насчёт нарвской навигации?... Но все чувствовали, что беседа в конце концов не привела, да, пожалуй, и не приведёт ни к чему, что говорят они на разных языках. И, выпив по последней чаше, гости стали прощаться и низкими поклонами благодарить хозяина за угощение. И когда закрылись за ними ворота, к князю подошёл старший сокольник его Ефрем Кашинец, сухой и горбоносый, сам похожий на старого сокола.

– Ну? – остановился строго князь: он думал, что-нибудь о Ваське.

– Батый вернулся, князь... – довольный, сказал старик.

– Когда?

– Ещё перед вечернями Ванька Шураль пымал его в пойме...

Князь вспомнил Андрейку-татарина и нахмурился: чего же он тут высматривал, татарская морда?

– Эй, Стигнеич... – крикнул он. – Кашинцу и Шуралю по доброй чарке водки... И смотри у меня!.. – погрозил он Кашинцу. – Теперь ты мне за кречета ответчиком будешь... Понял?

И, твердо и энергично ступая по дубовым ступеням, он скрылся в хоромаш. В саду, невидимая с улицы за высоким тыном, играла в горелки молодёжь. Слышался весёлый девичий смех и крики: «Чур, чур меня!.. А ну, догоняй!..»

V. Два друга

– Заедем повечерять ко мне, Афанасий Лаврентьевич... – проговорил, выехав за ворота, Матвеев. – Что-то все эти разговоры душу мне растревожили. И хуже всего то, что мы словно не договариваем до конца... Потолкуем...

– С радостью, Артамон Сергеевич... – отвечал Ордын. – И то давно я у тебя не был...

– Ну, вот и гоже...

Они ехали шагом берегом сияющей Москвы-реки. На той стороне пёстрое Заречье раскинулось, а справа, на холме, за его зубчатыми стенами, сияли соборы и хоромы царя и вельмож его, а над ними, как свеча воску ярого, высилась колокольня Ивана Великого. А вокруг Кремля безбрежное и беспорядочное море Москвы раскинулось: было в ней о ту пору до сорока тысяч усадеб, но как любили москвичи селиться широко, то казалась Москва значительно больше, чем она была на самом деле. Окружность её, однако, была всё же больше сорока вёрст. И было много зелени, и кое-где по холмам дремали мельницы-ветрянки, и всюду, куда ни глянешь, были церкви, церкви, церкви: их было в Москве, вместе с домовыми, до двух тысяч. Издали – говорили иноземцы – похожа была Москва на Иерусалим, а вблизи – на бедный Вифлеем: стройка была в ней серая, бедная. «А в домах своих они живут без великого устройства, – говорит современник. – И самым меньшим чинам домов своих построить добрых не можно, потому что говорят о них, что богатство многие имеют, и ежели построится домом какой приказный человек, оболгут царю и многие кривды учинят, что будто он был взяточник и злоиматель, царской казны не берёт или казну воровски крал, и от того злого слова тому человеку и не во время будет болезнь и печаль. Или, ненавидя его, пошлют на иную царскую службу, которого дела ему исправить не можно, и наказ ему напишут такой, что он из него выразуметь не умеет, и посему службою прослужится, и ему бывает наказание: дом, имущество и вотчины возьмут на царя и продадут тому, кто хочет купить. А если торговый человек или крестьянин построится добрым обычаем, и на него положат на всякий год податей больше. И оттого Московского государства люди домами своими живут негораздо устроенными, а города и слободы без устройства же».

– А я тебе не сказывал, Артамон Сергеич, новость-то – проговорил Ордын. – Наш Григорий Карпыч приказал долго жить...

– Котошихин?! – испуганно раскрыл глаза Матвеев.

– Да. В шведских курантах пропечатано... – сказал Ордын. – И негоже помер: казнили... У князя я нарочно не говорил, чтобы нам, новым людям, и это сейчас же на счёт не поставили. Ведь и он из наших был...

– За что? – поражённый, глядел на него во все глаза его друг.

– Жил, вишь, он там на фатере у шведа одного, и будто швед тот к жёнке своей Котошихина приревновал. Пришел он раз домой выпимши, это швед-то, затеялась ссора, Котошихин ножом его и ударь. Тот помер, а Григорию Карпычу голову сняли... О-хо-хо-хо...

Григорий Карпович Котошихин был дьяком Посольского приказа, которым управлял Ордын. Был он человеком по своему времени весьма начитанным и умным. За невинную описку в государевом титуле – надо было написать, как писалось исстари, «облаадатель», а он написал с одним «а», «обладатель», – его наказали батогами нещадно. По возвращении домой из поездки для заключения Кардисского мира он узнал, что за его отсутствие у него отняли дом со всеми пожитками: его отец, казначей в одном монастыре, был обвинён в растрате, и хотя потом оказалось, что никакой растраты не было, – не хватило всего пяти алтын, – дом так и не возвратили. В 1664-м году он был в польском походе при князе Юрии Алексеевиче Долгоруком. Воеводы, как всегда, ссорились. Долгорукий настаивал, чтобы подчиненный ему Котошихин, поддержал его донос на князя Якова Черкасского. Котошихин

отказался и впал в немилость. И вскоре был уличён он в выдаче шведам тайных документов за сорок рублей и вынужден был бежать за рубеж, где, как рассказывал Ордын, и покончил свои дни под топором палача. Естественно, что вся эта история большой радости партии реформаторов доставить не могла.

– Да, негоже... – покачал головой и Матвеев. – Говорить нечего: негоже...

Они повернули направо, вверх от плавучего моста к Василию Блаженному. Тут стояли две большущих пушки, обращенные дулами на мост, откуда обыкновенно нападали на Москву татары. Ордын от времени до времени поколачивал в небольшой барабан, который был у всякого боярина, чтобы толпа пропустила его. Услыхав этот «боярский набат», все сторонились и кланялись боярину до земли... Стрельцы, болтавшиеся в толпе, низко кланялись Матвееву: он одно время начальствовал над московскими стрельцами. Тут, между кремлёвской стеной и Василием Блаженным, был Вшивый рынок, место стрижки для всех москвичей. Остриженные волосы устилали землю таким густым слоем, что не слышно было ни звука копыт, ни проезжающих телег и повозок. Они выехали на Красную площадь, где, как всегда, кипел оживлённый торг. Гвалт тут был невероятный: торговцы заманивали покупателей, божились, клялись на иконы, били по рукам, ругались и снова крестились на иконы, призывая Бога во свидетели своих мошенств. Безместные попы стояли, ожидая найма, у Василия Блаженного и развлекались от нечего делать кулачным боем и непристойно бранились. Бесчинства их были так велики, что церковное начальство прямо не знало, как их унять. И тут же, громко крича, предлагали они проходящим отслужить сейчас же, на месте, молебен: кто Марии Египетской, кто святому Науму, который, как известно, наставляет на ум, кто Флору и Лавру, богам скотским, а кто Кирику и Улите. Торговцы блинами, пирогами и оладьями тут же жарили свой духовитый товар на особых жаровенках. Ныли нищие. Какой-то дюжий мужик возил в тележке обрубок человека: то был казнённый за воровские деньги. Прохожие, среди которых было немало простых празднюльцев, с жалостью смотрели на обрубок этот и бросали ему, набожно крестясь, медяки. Торговцы луком и чесноком, – любимые овощи того времени, – квасом, белилами и румянами, калачами и крестиками оглушали всех своими заливистыми криками. И объезжие головы, и земские ярыжки в своих красных и зелёных кафтанах с вышитыми на груди буквами З. Я. с трудом поддерживали порядок в этом горластом море людском, а когда слышали крутую матерщину, то без разговора – по приказу самого царя – крушили ругателей по голове и по плечам здоровенными палками.

И вдруг в толпе произошло дикое смятение. Все с криками бросились врассыпную. Безногие обрели ноги, слепые прозревали, у расслабленных вдруг обнаруживались недюжинные силы, изувеченные бросали свои костыли, торговцы – свои товары, мужья – жён, родители – детей, и всё панически торопилось скрыться: на торгу появился небольшой отряд стрельцов, впереди которого шёл со связанными руками человек. На голову его был надет мешок с прорезями для глаз. Это был страшный «язык», обвинённый в страшном «слове и деле» государеве и теперь выведенный на торги и базары, чтобы обнаружить своих сообщников и предать их тут же в руки правосудия. И так как часто случалось, что такие «языки», чтобы отсрочить свою гибель, нарочно запутывали в дело совсем неповинных людей, то при появлении его и обращались все в паническое бегство...

Постукивая в свой набат, Ордын с трудом прокладывал дорогу среди густых толп, теснившихся меж торговых рядов. Были ряды пряничный, птичий, харчевой, калачный, крашеинный, суконный, сапожный, свечной, коробейный, медовый, соляной, домерный, житный, охотный, зелейный и всякие другие. Мимо Аглицкого двора, что стоял у Максима Исповедника, оба выехали на Рыбный рынок, где всегда была такая вонь, что даже ко всему привычные москвичи не выдерживали и затыкали носы. Тут кончался славный Китай-город и начинался Белый город, не менее бойкий и шумный. Звонко цокотали подковы лошадей по деревянной настилке улиц. Вокруг всё та же вонь, пыль, крутая матерщина и пьяные

песни. У одного большого кружала стоял на крыльце пьяный дьячок и, нелепо размахивая рукой, что-то громко и весело кричал глазающей на него толпе. Та гоготала, от удовольствия сплёвывала на сторону и, сядя матюгом, лезла всё вперед, чтобы лучше слышать весёлого дьячка. Андрейка, стремянный Ордына, ехавший сзади, пометил с краю толпы странников отца Евдокима и Петра и незаметно лукаво прищурил им глаз, но в это время его боярин что-то обернулся и подметил его смешок.

– Царский бахарь, бачка... – осклабился Андрейка. – Царю шибка сказка сказывал. И песня старинная шибко петь можит, бачка...

– А ты почему знаешь? – спросил Ордын.

– На царском дворе видал, бачка... У-у, тонкий народ, бачка, шибка тонкий!.. Все наскрозь понимать можит, бачка...

Справа показалась красивая церковь Николы на Столпах, приход Матвеева. Все трое сняли шапки и перекрестились.

– А не знаешь, как дело со Стрешневым-то порешили? – спросил Ордын.

На боярина Стрешнева, родственника царёва, было подброшено в Грановитую палату письмо, в котором его обвиняли в волшебстве. Царь, очень боявшийся колдовства, был чрезвычайно смущён и рассержен.

– Дела его плохи... – сказал Матвеев. – Великий государь сказывал, что снимет с него боярство и пошлет в Вологду... Вот что хочешь, то тут и думай...

Они подъехали к небольшой и невзрачной усадьбе Матвеева. Царь не раз и шутя, и серьёзно требовал, чтобы Матвеев построился получше, но тот всегда отговаривался, что ему, худородному человеку, со знатными боярами тягаться не след. Старый слуга Матвеева, Орлик, отворил на стук кольца ворота и принял коней. Это был серьёзный, набожный старик с какими-то особенно милыми, собачьими глазами. Ордын отпустил своего малайку домой: у Матвеева он всегда засиживался. Андрейка осклабился, вытянул коня плетью и, подымая по улице золотистую пыль, поскакал – к кружалу, около которого он только что видел царского бахаря. Он покрутился вокруг, поискал их, но не нашёл и, снова вытянув своего степняка, поскакал домой...

– Ну, чем же мне потчевать тебя прикажешь? – идя к крыльцу, говорил Матвеев. – Вечерять, как будто, рано ещё. Может, выпьешь чего, горло от пыли московской промыть?...

– Брось, Артамон Сергеич... – сказал Ордын. – Ведь я знаю, что и ты не любишь безо время брюхо чем ни попадя набивать. Да и я бражничать не охотник...

– Ну, так тогда нам непошто и в горницу пока идти... Пойдем в саду посидим маленько... Ишь, благодать какая...

Друзья сели на низенькую скамейку под старой, точно молоком облитой, черёмухой. От пряного духа её слегка кружились головы и сладко щемило сердце нежною тоской по какому-то счастью, неведомому, но близкому, всегда возможному.

– Гоже у тебя тут, Артамон Сергеич... – похвалил Ордын. – Не скажешь, что и в Москве...

– Да, наша улица, слава Богу, тихая... – отозвался Матвеев. – Так и живём, ровно в скиту...

– По нынешним временам скит, пожалуй, самое лутчее место для человека... – задумчиво проговорил Ордын, глядя перед собой своими лучистыми, немного печальными глазами.

– Ну... Что ты это?... – пошутил Матвеев. – Ежели все так по скитам забьёмся, как же государство-то стоять будет?...

– Всё горе в том, что прямоты сердца в людях нету... – печально проговорил Ордын. – И во всякой лжи да глупости мы пропадаем, как кутята слепые. Вот говорили мы о шатании людей. С некоторой поры в себе я это самое шатание подмечать стал, вот беда... То,

что раньше вернее верного казалось, теперь вдруг точно... не знаю, как и сказать тебе... ну, точно вот всё завяло. Уж я ли не настаивал перед царём, чтобы Ригу нам занять и вообще к морю пробиться, а теперь лежишь и думаешь целыми ночами: да так ли это? Да поможет ли нам море? Вот тот же Котошихин вышел на моря-то, а кончил чем?... Знамо, там словно повольнее жизнь-то, да это ли нам нужно? Ну, да это оставим. А тяжелее всего для меня то, что во всём какая-то гниль у нас заводится, все какими-то косыми да неправедными путями идёт. Вот давеча Годунова вспомнили и всё, что после него было. А разберись по совести: ведь все до единого, что за это время власть один у другого вырывали, только о своей мошине и заботились: как бы поскорее да побольше нагрabить. Помнишь письмо Шереметева Фёдора Иваныча к Голицыну в Польшу, как они насчёт выбора Миши Романова сговаривались? «Миша-де молод, разумом не дошёл, и нам будет поваден...» А о народе и думушки нет! Конечно, на словах-то поди-ка какими соловьями все разливаются, а посмотришь поближе: обман. Церковь опять возьми. Уж тут ли греху да обману быть, казалось бы: ведь самое святое для человека место! А помнишь, какие штуки Лигарид да и все эти другие бродяги на суде над Никоном выстраивали? Ведь совестно слушать было!.. Если зашло дело о том, какой власти, царёвой али духовной, на первом месте быть, так и решай это дело как по совести, по закону. А помнишь, как Лигарид махнул, что у такого царя, как Алексей Михайлыч злых наследников быть не может и потому подчинение Церкви царю ей вреда не принесёт? И всё это, чтобы выслужиться. И своего добился: его проклял иерусалимский патриарх за латинство, а мы отсюда послали патриарху любительных подарков на тысячу рублёв и тот своё проклятие снял. Где же совесть-то? Где же правда-то? Или опять возьми правление наше. Верно, что трудно теперь одному за всеми непорядками угоняться, верно, что надо бы почаще собирать людей всего государства Московского для суждения о делах государственных, для совещания царя со всенародными человеки, как били о том челом гости и торговые люди лет пять тому назад. А стоит пойти навстречу, как начинается опять всякое мошенство, измена, нестроение. Помнишь, в 1651-м году из Крапивны на собор был какой-то боярский сын Федоска прислан, а потом посадские люди челом били царю, что такого воришку, составщика и пономаришку они не выбирали и что ему у великого государева дела быть нельзя.

– Так то всё воевода подстроил!..

– Всё равно, кто подстроил. И воевода такой же русский человек, как и мы. А как он на дело-то государственное смотрит?...

– Вон енисейский воевода Голохвостов надумал отдавать от себя на откуп зернь, и корчму, и безмужных жён, – нешто можно поклеп за это на всех класть?...

– И можно, и должно. Ежели ты себя за всех виноватым не чувствуешь, то несть нам спасения. Все мы – одно... Да. И требуем: собери людей, спроси совету, слушай земли. Соберут их, а они начинают: «В том во всем твоя государственная воля, а нам о том советовать непригоже... Мы на службу готовы, где государь укажет быть». Только всего и мнения у него. Так зачем тогда их и собирать? Вон Крижанич всё печаловался, что не может русская власть средним путем ходить, что во всём она меры не знает, что всё по окраинам да пропастьям блуждает. А разве это не от нас?

– Вся беда наша в том, что просвещения книжного в нас нету... – сказал Матвеев. – Царь Михаила Фёдорович сам едва по складам читал, многие бояре высокие должности занимают, а имени своего подписать не могут... А откуда его, просвещение-то, взять, когда училищ нету, а в чужие края и носу высунуть не смей? А помнишь, Олеария на Москву звали? Ты-де, и астрологию знаешь, и географус, и беги небесные, и нам-де, такие люди нужны, а потом и пяти лет не прошло, этот самый географус в ереси записали! А наши крутолобые-то ещё всё плачут, что больно мягко наше Уложение!.. Тут взвоешь, а им всё мало... А в тех училищах, которые и есть, чему учат, чем учителя похваляются? «Откроются им всякие книги

печатные и письменные, и всякие дела и крепости, откуда вразумляются и вчиняются и чем устроятся...» И всякий, кто знает грамматику, уже философом слывет, учёным!..

– Просвещение книжное... – повторил тихо Ордын. – А Котошихин? А опять Морозова возьми: он ли не начитан, он ли не умен? А в голове только одно: где бы чего урвать? Вот тебе и просвещение!.. Сердцевина у нас гнилая, сдается мне. Веры настоящей нету. Величаемся: мы-де, одни хранители истинной веры Христовой, а вокруг-де, все басурманы. А погляди ближе опять: и вера какая-то гнилая!.. Вон когда Никона всем миром валили, тот же Стрешнев свою собаку Никоном назвал и благословлять её по-патриаршьи выучил! А Никон его за это проклял. А сам Никон, патриарх всея Руси, когда при нём нашего псковского святого Ефросина хвалить стали, саданул: «Какой он святой? Вор, бляди сын, Ефросин...» И пил хуже всякого ярыжки, и царь к покоем его во время запою стрелецкий караул ставил... И стоит над Москвой звон всех сорока сороков, а на улицах – матерщина, женщине носу показать нельзя. Говорят: из терема выпустить её надо. Да как же я её выпущу на такую страмоту?...

Матвеев, точно уже испугавшись чего-то, молчал. Из-за Николы на Столпах в сиреневых сумерках месяц подымался. Загорались редкие и бледные звёзды. Соловьи засвистели и зарокотали по садам.

– Думаю я, что от того в нас всех шатание такое, что нет в нашей вере ни ясности, ни твёрдости... – сказал тихо Ордын, потупившись. – Вон какую бучу на весь православный мир Никон поднял, а разобрать, весь этот шум пошёл из-за пустяков. Мнится мне, что не букву исправить надо было, а то, что под буквой. Возьми хошь Нила преподобного, которого Иосиф Волоколамский заклевал. Ведь он нестяжанию учил, кротости, жизни братолюбной, а пастыри наши привыкли стоять высоко, ездить широко. Ведь о том же Никоне попы говорили, что лучше в Сибирь в ссылку идти, чем попасть к нему под начало: ведь он батогам их бил, на цепь сажал, в ссылку гнал невесть и сам куцы, а сам тем временем, запершись, всё деньги свои да сибирские меха считал, а приняв от прежнего патриарха 10 000 крестьян, он после себя оставил 25 000 семей крестьянских, которые к Патриаршему двору приписаны были!.. Вот тебе и Нил преподобный!.. Как на духу тебе покаюсь, Артамон Сергеич... – прибавил он, и прекрасные глаза его засияли в сиреневых сумерках горячим огнём. – Боюсь я дум этих! Чувствую иногда, что прямо земля из-под ног уходит... Всю жизнь я царю да родине прямил, не жалея себя, а вот теперь думаю, что вся эта суতোлка наша, все споры, все кровопролития – пустота одна... И чует душа моя одно: не мы делаем, а нами что-то Господь сделать хочет. Вот ты давеча у князя Юрия Алексеевича сказал, что разбегается-де Русь во все концы, куда глаза глядят... Правда, да только не вся...

– Как не вся?

– А так. Вот сидели мы, Русь, в Киеве, и одолевала нас Степь, и подались мы в леса, куда поглуше. И сюда стали доставать, – хошь не хошь, а воюй... Не один век смертным боем бились, уничтожили, наконец, Орду, Казань и Астрахань за собой закрепили. Может, и не следовало бы залезать так далеко, и не по силам бы нам это, да вот нас не спрашивали об этом. И опять с украин все нас щиплют и щиплют: и на Тереке, и из Крыма, и из-за Камы, – о ляхах и шведах я уж не говорю, – и нет нам никакого покою. И вот отбиваемся мы от вражьей силы, и всё лезем, отбиваясь, вперёд да вперёд, пухнем, как тесто в квашне, и никак остановиться не можем: иди, бейся, не стой!.. Правда, что люди от Москвы бегут, но только и Москву кто-то погоняет. Судьба-злодейка? Господь? Вот и разбери тут...

– Да к чему ты это, Афанасий Лаврентьевич?

– А к тому, что кабыть не нашей волей всё это творится... – проникновенно и печально проговорил Ордын. – Верно, что тяжко мужику стало, как к земле его Уложением пришили. А и не пришить было нельзя, потому что надо же крепить за собой, для него же надо, те

дикие места, куда нас гонит судьба... И как подумаешь обо всём этом покрепче, так одно только словно и остаётся: в скиту запереться. А там да будет воля Твоя.

В серебристом сиянии месяца, на щит червлёный похожего, тихо подошла к ним сзади какая-то стройная женская фигура, в пояс поклонилась и проговорила:

– Мир вашему гулянию...

Ордын встал и низко поклонился ей. То была Наташа, дочь его сослуживца, Кирилла Нарышкина, приёмш Матвеева. В других домах все женщины и девушки были накрепко спрятаны от чужих глаз по теремам, – у Артамона Сергеевича, женатого на шотландке из Немецкой слободы, они открыто выходили к гостям и даже вместе с ними трапезовали.

– А ты всё хорошеешь, Наталья Кирилловна!.. – ласково улыбнулся Ордын.

И он тепло посмотрел на стройную, высокую красавицу, на её прелестное, такое белое в сиянии месяца лицо с большими тёмными глазами и с густой косой, перекинутой наперёд через плечо. И вдруг стало ему понятно, о чём поют соловьи, о чём шепчут серебристые звёзды; о чём сладко плачет и тоскует в такие ночи сердце человеческое... И пронеслось душой облачко: и это уже ушло...

– Ужинать велели вас звать, время уж... – ласково сказала Наташа. – Милости просим, боярин, нашего хлеба-соли откусать...

И когда потом возвращался к себе Афанасий Лаврентьевич сонными улицами, завожжённой луною Москвы, в душе его было тяжёлое чувство неудовлетворённости. Он чувствовал, что он точно уходит от Матвеева. Его друг представлялся ему каким-то точно прудом, в который не нырнёшь: в нём нет глубины. И великая печаль всё растущего в мире одиночества охватила душу одинокого всадника...

VI. Вольница

Светлая бездна лунного неба вверху, светлые, с резкими чёрными тенями холмы внизу и серебристая, широкая, движущаяся гладь Волги: ширина, дух захватывающая, воля дикая, никаких границ нигде и ни в чём... По холмам полыхают золотые костры, а вокруг костров гомонят и движутся угольно-чёрные тени, – оборванный, волосатый, сквернословящий, бряцающий оружием и пьяный воровской табор. Казаки варят себе ужин... И льётся их песня, широкая и немного печальная, как эта Волга бескрайная в пустынных берегах, как эта глухая, недавно зазеленевшая степь...

Казаков было в станице побольше тысячи. Тут были и сивые старики, и совсем почти мальчишки, были великороссы, были черкасцы-малороссы, были новокрещёные татары, и черемиса, и «чюваша», были бойцы со славного Запорожья, было несколько ляхов-хлопов и даже один уже седой чех, потомок таборитов, которые бурями религиозных войн были выкинуты сперва в Запорожье, а потом и на Дон, были ремесленники, были монахи, были просто не помнящие ни роду, ни племени, которые по кабакам завалились, испропились, но больше всего было крестьян, потерявших при тишайшем Алексее Михайловиче последнюю волю и всякое право...

– А как тебя занесло к нам, такую даль? – мешая в чёрном котле и отворачивая закоптелое лицо от дыма, спросил кашевар, обращаясь к одному из сидевших вокруг огня казаков, парню лет за тридцать с шапкой густых каштановых волос, открытым загорелым лицом и вытекшим глазом.

– А ты попробовал бы панов наших, так, может, и дальше ещё подался бы... – лениво, с сильным хохлацким акцентом отвечал Серёжка Кривой. – Они едят на золоте да на серебре, при столе музыка всегда в трубы играет, все в шелку да в золоте ходят и шляхты этой, дармоедов, в ином доме до тысячи человек содержат... А с хлопов драли всё, что было только можно: от восхода солнечного до ночи гни на них спину без передышки на панщине, а придёт большой праздник какой, Пасха там, или Рождество, або Троица, вези пану осып: зерно, кур, гусей... Со скотинки всякой отдай ему десятину, с каждого вола плати рогатое, с каждого улья – очковое, захотел рыбки половить, плати ставщину, нужно скотину на степь выгнать, плати спаское, желудей свиньям в лесу набрать хочешь, плати желудное, а на мельницу поехал, отдавай сухомельщину... Напридумывали!..

– Ано!.. – дымя трубкой, усмехнулся чех.

– Да... Это у вас ловко паны придумали!.. – засмеялся чернявый казак с вырванными ноздрями: бив его батог нещадно, ему вырвали их за нюханье табака, запретного бесовского зелья. – Пожалуй, почище наших будут...

– Так хибя то усе? – усмехнулся Серёжка, точно гордясь изворотливостью своих панов... – Сами-то паны редко по поместьям живут, а землю всё больше жидам в аренду сдают. Так жид ещё своё придумал: нужно тебе дитя окрестить, плати ему дудка, сына женить задумал, неси ему поземщину, а не хочешь платить, дитя останется нехрещёным, а молодёжь живёт невенчанной, как тии басурманы. И если баба или дивчина какая жиду приглянется, он своё возьмёт, пархатый. Та що: ежели человек какой проштрафится, то жид своей властью может и пеню на него наложить какую вздумает, а то и смертью казнить...

– Рассказывай!.. – недоверчиво протянул закоптелый кашевар.

– Ось тобі й розказывай!.. – повторил Серёжка. – Жиды и церкви наши у панов все позабирали. Потому паны всё католики больше, им и лестно православным-то в борщ наплевать, чтобы скорее мы поляками да католиками поделались. И вот жид забирает себе ключи от церкви и за каждую службу берёт с православных деньги да ещё, пархатый, над попом

всячески измывается. А убежит, не вытерпит поп, сейчас церковь униатам передают а вся святыня жиду идет...

– Так чего ж вы терпели такую дьявольщину?... – сверкнул золотыми от огня глазами чернявый с рваными ноздрями.

– Да, терпели... – усмехнулся Серёжка. – Не дуже терпели, когда сила была!.. Как при Богдане поднялся народ, так, помню, – я тогда совсем зелёным хлопцем был, – осадили мы с запорожцами замок один богатый. Взять приступом силы не хватало – ну, стали голодом панов морить. И запросили паны пощады. Ну, добре, говорим, время нам с вами терять не можно, так вы, ляхи, выходите и убирайтесь к чёрту на рога, ну а жидаы чтобы все нам головой выданы были. А их в городке до 3000 было. Ну, паны это обрадовались, выгнали жидов из замка, и тут и пошло!.. Чего-чего только над пархатыми не делали!..

– А паны? – спросил сиплый голос из темноты.

– А паны?... – усмехнулся Серёжка. – Панов нам трогать было не можно по уговору, так мы другим казакам дали знать. Казаки нагнали их и всех покрошили. И вот тут вы все про Каспий толкуете – наплюйте на Каспий, давайте к запорожцам двинем, весь народ по Днепру подыдем да к ляхам в гости... Это вот дело!.. За землю русскую, за веру хрестьянскую встать, народ ослобонить православный... И ляхов, и жидовню эту всю нужно раз навсегда под метёлочку вымести, чтобы и не пахло больше. А добычи и там не меньше заберёте, а может, и больше: богаты паны которые, сукины сыны...

– За что же ты нас-то под метёлочку выметать будешь? – сказал с сильным польским акцентом долговязый, белокурый лях. – И мы от панов да шляхты не меньше твоего терпели.

Все глаза оборотились на Серёжку, но он уклончиво молчал и, видимо, оставался при каком-то особом мнении.

– Не торопись, брат... – сказал из темноты сильный, уверенный голос – Дай срок здесь с делами маленько поуправиться, а там и к панам твоим в гости побываем: дорога знакомая, хаживали... Вера это, ребятушки, дело поповское, а вот с панами поговорить это дело казацье...

Казаки оглянулись и в дрожащем, красно-голубом от луны и огней сумраке увидели рослую, широкоплечую фигуру своего атамана, Степана Разина. Его грубое рябое лицо, с небольшой чёрной бородой, было правильно и красиво какою-то особою степной, дикой, звериной красотой, и карие глаза смотрели строго и повелительно. Чували в нём казаки присутствие какой-то силы тёмной, считали его немножко ведуном, побаивались его, гордились им...

– Один чёрт везде... – громко сказал от соседнего костра есаул Степана, Ивашка Черноярец, плотный, точно весь железный молодец с красивым и дерзким лицом и всегда готовым кощунством и невероятной матерщиной на языке. – Везде нашего брата сосут, что только ох да батюшки. Ну, погодите: придёт и наше время!..

Родом он был из посадских Чёрного Яра, но, горячий и буйный, он не поладил со своим ндравным стариком и вместе с молодой женой Устей и годовалым Ванькой он ушел от отца в Надеинское Усолье, что на Самарской луке стоит, богатое имение, которое подарил царь своему любимому монастырю Саввы Сторожевского. Там Ивашка, парень дельный и энергичный, – хотя часом и зашибался он водчонкой, – быстро стал было на ноги, но тут случилась с ним новая беда. Хозяйством монастыря в Усолье ведал соборный старец Леонтий Маренцов, выжига и сутяга, каких и свет не видал, а кроме того, и до баб охотник большой: почитай всех не только девок, но и мужних жён на Усолье перепортил. Усольцы писали на него не раз грамоты и патриарху, и царю, и самарскому воеводе, но, как говорится, до Бога высоко, до царя далеко, толков никаких от их слезниц не получалось, и старец продолжал колобродить. И раз, когда Ивашка на долгое время отлучился на бобровые гоны, старик обманом завладел

его Устей, та, баба в отца, ндравная, бросилась с ребёнком в реку, а Ивашка, затаив в душе всё, сидел вот пока что у костра воровской станицы.

— Что верно, то верно... — сказал Мишка Телятя, маленький, весь серый, с выкатившимся кадыком, большими сердитыми глазами и глухим кашлем, с большим Б («Беглый»), выжженным на впалой щеке. — Твои ляхи ещё так, потому они хоть веры не нашей, — нет, ты бы на наших бояр посмотрел, что они выделывают!.. — он густо и скверно выругался. — А особенно эта чёртова роденька царёва: Милославский да Морозов, да Матюшкин... И вот терпел, терпел народ московский все эти охальства их да на конец того поднялся да к царю и шась... А царь о ту пору в Коломенском селе жил, под Москвой... Ну, подошли мы это к хоромам его — так огнём и горят, чисто вот жар-птица какая... Ну, подошли, зашумели, вытребовали это к себе царя, а он в церкви был, за обедней, по случаю рождения дочери, что ли. А бабы его, потом сказывали, со страху все попрятались... Вышел это он к нам, а мы все в один голос: подавай нам лиходеев наших: Милославского, Морозова, Ртищева бояр да гостя Шорина Ваську!.. Ну, почал он уговаривать нас: я-де, братцы, ничего про то не ведал, а теперь, знамо, расправлюсь с супостатами по-свойски. И я, я сам, вот этой самой рукой на глазах у всего народа православного — а нас подошли тысячи: работные люди, стрельцы, солдаты, попы... — по рукам с царём ударил, что возьмёт он лиходеев наших за приставы и народ во всём удоблетворит. Ну, поблагодарили мы его и назад пошли весёлым обычаем, и вдруг глядь, навстречу нам ещё народушка валит. Мы было обсказывать, что обещал-де царь всё дело обладить, а те не верят: довольно нам в уши-то напевали, ты нам-де дело подавай!.. И двинули опять все в Коломенское, — прямо вот чистое Чёрное море, вся Москва поднялась! И вдруг заместо царя — стрельцы... Да кы-ык из пищалей в народ саданут!.. И пошло... А у нас на всех хошь бы ножик какой один... Ну, бросились все бежать, а конные солдаты ловить нас давай да вязать и сичас же скорым обычаем человек до двухсот по деревьям вокруг дворца развешали, не меньше ночью в реке утопили, а других пытали, жгли, руки и ноги рубили, калёным железом прижигали: вот гляди на эти буки-то... — указал он на щеку. — По-ихаму, выходит, значит, бунтовщик... И всего извели они народу тысяч до семи, а тысяч пятнадцать в ссылку на Волгу послали: кого в Казань, кого в Астрахань, кого куда... А бояре-лиходеи и по сю пору здравствуют, роденька-то царёва...

— Ну, теперь уж недолго им здравствовать!.. — засмеялся Ивашка Черноярец и крикнул: — Ну, ребятушки, подваливай к котлам!.. Готово...

Весь стан пришёл в движение. Казаки подбирались по своим десяткам и, ножки калачиком, усаживались вокруг огней. Появились десятские с бочонками водки: то Степан у царского воеводы в Царицыне вытребовал. Пили по очереди большими чарками, крикали, плевались от удовольствия, похваливали.

— Хорошо у воеводы вино... — помотал головой кашевар. — Надо бы захватить побольше...

— А вот баба у его ещё лутче... — засмеялся рослый молодец, блестя розовыми от огня зубами. — Вот кабы тую захватить!..

— В Царицыне сказывали, бьёт она воеводу-то...

— И гоже!.. — захохотали казаки. — И мы их бить будем...

И все с аппетитом взялись за душистую похлебку с говядиной, но накрошенного в неё мяса никто до сигнала тронуть не смел. И когда выбрали похлебку почти до дна, тогда старшой постучал ложкой о край котла и все стали таскать и говядину. А потом был палящий кандер с салом. Припасы были все ещё с Дона, у богатеев взяты, и казаки наелись до отвала, что с ними случалось далеко не всегда. У одного костра сидел загорелый, сухой, весь покрытый боевыми шрамами, с длинными усами и чубом полковник Ерик, пришедший к Степану со своими запорожцами. Все запорожцы были в лохмотьях, но лохмотья эти были и шёлковые, и бархатные, и даже парчовые, — всё это было добыто по кладовым польских панов и

турецких пашей в Малой Азии. К ним, старым воякам, казаки относились с особым уважением и некоторой завистью к их прошлой широкой, разгульной жизни, и они держались с достоинством и немножко презирали всех этих «Иванов». Промежду казаков ходили слухи, что Степан списывался с Дорошенко и с Серком, которые от Москвы опять отложились, и что они сговаривались, в каком урочище сойтись вместе. Но Дорошенко всё что-то крутил туда и сюда и больше держался к салтану турецкому, чего многие казаки, однако, не одобряли: басурман он басурман и есть...

Наелись, отвалились и, помолвившись, – а кто и так, – задымили трубками. И кто-то затянул в ночи песню казацкую:

Эх, что пропились, ребяташки, промотапись,
Во косточки да в карты проигрались, —
На что же мы, ребяташки, понадеемся?
Понадеемся мы, ребяташки, на сине-море,
Что на синее море, на Хвалынское...

- А смена в дозор пошла? – своим сильным голосом крикнул Степан по-над берегом.
- Собираются... – отозвался Чернорец.
- Чтобы не дремали там!.. Весенний караван должен быть совсем близко...
- Не упустим!..

Тихон Бريدун, старый, толстый, как бочка, запорожец, весь из лица багровый, с белыми висячими усами, залысив грязную шапку на затылок, из облака пахучего дыма своей люльки рассказывал сиплым баском о том, как, бывало, запорожцы в море «гулять» ходили, как шарили они по турецким берегам на своих чайках, как бились с турецкими галерами в море, как уцелевшие с песнями возвращались на Сечь, перегруженные парчой и шелками, и оружием драгоценным, и коврами, и арабскими цехинами, и испанскими реалами, и камнями самоцветными...

– Ну, тильки у нас у Сичи зовсим инши порядки були... – сипло басил он, покашливая и пуская клубы дыма. – У нас сувористь у всим була, що твий монастырь, тильки що монахи Бога молять, а мы саблею та рушницею орудуем... А то зовсим монахи – даже и пьянствовали немов монахи... – затрясся он в беззвучном хохоте. – Но усе те тильки до похода. А коли котрый, взяв та на походи напився, без усяких розговорив у воду. Коли украв – смерть, кошевый не писля закону в чим поступив – смерть, бабу в курени привив – смерть. Або коли котрый постив не соблюдав або в церковь до причастия не ходить – ого-го-го-го!..

– А по-моему, ни к чему все эти строгости-то ваши... – заметил Филька-мижгородец, жидкий, худой оборванец с лицом замученной клячи. – Довольно строгости-то повидали мы и прежде, а теперь одно: гуляй, казак, душа нараспашку...

И казаки, одобрявшие до того Тихона Бридуна, одобрили и Фильку: в сам деле, на кой пёс эти вериги-то на себя одевать? Сегодня жив, а завтра помер...

У другого костра, над самым обрывом, слышался смех: там, по своему обыкновению, молол что-то Трошка Балала, щуплый мужичонка с маленькой, глупой головёнкой на тонкой и длинной шее, худощавым и румяным личиком и хитрыми глазками. Трошка был враль совершенно необыкновенный, и, по словам казаков, вся станица вместе за год не врала столько, сколько мог наврать рошка за один вечер. Над ним смеялись в глаза, открыто презирали пустобреха, но не слушать не могли: до того занятно гнул он всякие небылицы и до того нелепы и ярки были все эти его похабные прибаутки.

В сторонке какой-то дьячок надтреснутым голосом пьянчужки рассказывал внимательным слушателям о том, как судили и мучили в Москве непокорного протопопа Аввакума:

– И вот восточные патриархи рекли к ему, к Аввакуму: «Что-де ты упрямишься? Вся-де наша Палестина, и волохи, и римляне, и ляхи трема персты крестятся, один-де ты стоишь на своем и крестишься пя-тию персты... Так, сыне, не подобает...» А он им в ответ бесстрашно: «Вселенстии учителя, Рим ваш давно упал и лежит неисклонно, и ляхи с ним же погибли, до конца враги быша Христианом... А у вас православие пёстро стало от турецкого салтана Махмета, да и дивить на вас нельзя: немощны есте стали... И впредь, – говорит, – приезжайте к нам учиться: у нас, Божию благодатию, самодержество. До Никона-де, отступника на Руси у благочестивых князей и царей все было православие чисто и непорочно и Церковь нематежна...» Ну, и заперли в Угрешский монастырь... А потом...

У другого, уже потухающего, костра слышалась тихая речь:

– А я тогда конюхом царским был... И вот возьми она, стерва, да и донеси начальным людям, что Митька-де, муж мой, царских лошадей всех отравить хочет... Вот что стерва придумала!.. Ну, те за меня: им кого бы ни драть, абы драть. Ну, и Маринку сгребли тоже и, как полагается, на правёж первой поставили, пытать стали. И до чего баба расстервенилась: стоит на своём и делу конец!.. И приговорили меня в Сибирь послать, а Маринка стала половину моего жалованья получать от казны, как полагается у их по закону. С дороги я было убёг и хотел было на Москву воротиться да пришибить стерву, а потом раздумался и на низ сюда подался: стоит ещё с дерьмом связываться...

На самом обрыве, свесив ноги вниз, в темноту, и глядя на тихо плывущую внизу широкую гладь Волги, сидел сам атаман с несколькими казаками, которые постарше. И говорил атаман:

– Ни черта сделать они с нами не могут!.. Народ старой воли ещё не забыл и расстаться с ней не захочет... Как они ни крути, как ни лютуй, а народ всё не унимается. Не успели тогда с Заруцким в Астрахани управиться, сичас же под самую Москву Баловень с товарищи подкатил. Повесил его боярин Лыков на Калуже, – Колбак со своей станицей появился и давай царствовать тут над всем Каспием. Никогда народ не покорится им!.. И очень уж низко они о казаке понимать стали... Когда турки поляков нажали, не пришли разве казаки под Хотин помочь против неверных? Сами пришли, доброй волей, без кнута... И не полтора человека, а целых двадцать тысяч подошло... А кто Сибирское царство царям дал? Казаки!.. Ермак... Только службу-то казацкую они забывают скоро, а чуть пошлют где казаки, крик подымут, словно светопреставление начинается... Кабы смелы, давным-давно они и Дон, и Запорожье прикончили бы, а вот не трогают да ещё царские гостинцы казакам кажний год посылают: это-де, государь великий вас жалуёт... А донцов и всего-то каких двадцать тысяч наберётся...

– Царь-то, он, знамо, всей душой рад бы народу облегчение сделать... Это всё бояре да приказные баламутят... – попыхивая трубкой, сказал кто-то тихо.

В самом деле, царские грамоты, в которых, по обычаю, выражалась забота о чёрных людях, создавали у наивного народа представление, что вся беда в том, что жалуёт царь да не жалуёт псарь...

Степан бросил на него боковой взгляд.

– А и дурень ты, как я посмотрю!.. – сказал он сквозь зубы. – Царь... А слышал, что сегодня москвитин-то про коломенскую гиль рассказывал?... Ца-арь... Вся и беда в том, что таких вот дураков в народе ещё много...

И он, досадуя, что в сердцах высказал больше, чем следовало бы, встал, энергично сплюнул и исчез в темноте.

– Была бы, знать, шея, а хомут наденут... – вздохнул кто-то.

– Царь... – проговорил другой, сипя трубкой. – Не радуется он о чёрном народе нисколько. Он смолodu привык в рот боярам смотреть. А те себе не вороги... Нет, братцы, видно, от царя нам ждать нечего...

– От кого же ждать, как не от царя? Только вот лиходеев-то изничтожить надо, а уж он, государь, своих сирот не оставит...

– Говори вот с дураком!.. А кто же, как не царь, в неволю-то нас боярам да дворянам отдал? Ну? Не тронься с места, точно пришитый, дохнуть не смей и плати ему, чем он только тебя изоброчит, гни на него спину-то... Вот был у нас помещик: мы со светком на работу, а он только спать ложится после гульбы ночной. И дотла весь проигрался: ни в казну ничего не платит, ни долгов соседям. Не платит-то господин, а на правёж ставят его мужиков... Ну, и разбежались мужичишки кто куды... А ты: ца-арь!.. Ему, брат, в хоромах-то не дуёт...

– А у нас вот тоже случай какой вышел... – лёжа на земле, сказал другой из-под дырявого охабня. – Как повели это Закамскую-то Черту против ногаев, стали скликать со всех концов народ: собирайся на Черту, православные, угодя – лучше требовать не надо, земли много, в оброках на первые годы льготы всякие. Нашито деды сперва на Мижгородской украине поселились было, близко черемисы, – ну, земля это повыпахалась маленько, да и приказные черемису очень уж донимали, а по пути и нас. Ногаев, конечно, побаивались, ну, думали, что ратные люди в обиду своих не дадут. И пошли... И осели на самой Черте, коло Ерыклинского городка. И что же вы думаете, братцы? Не успели и изб как следоваит поставить, ворвались это ночью ногаи, а кто говорил, новые какие-то, калмыки, что ли, пёс х знает, всё разорили, всё пожгли, кого побили, а кого в полон угнали и, может, продают теперь православных, как скот какой, азиатам или турецким людям... И остался я яко наг, яко благ, яко нет ничего: старика со старухой в избе сожгли, а молодуху мою с двумя ребятами в степи угнали...

Огни погасли. Стан понемногу затихал. Только у запорожцев становилось всё шумнее, всё веселее. Раздавались взрывы хохота, крики какие-то. Вот зауркали и застукали, и зазвенели бубны. Кто-то песню плясовую зачистил ядовито:

Ходит ляшок по базару, шабельку стискае,
Козак ляшка не боиться, шапки не снимав.
Як кинется лях до шабли, а козак до дрюка:
От тут тоби, вражий ляше, з душою розлука!..

Как огонь, разгоралось веселье. И вот уже расступился широкий круг смеющихся лиц, а в середине его, то совсем чёрные, то огненно-красные от огня, дружно стучали подковами и, выкидывая ноги, неслись вприсядку чубатые запорожцы. В сторонке лежал, завернувшись в лохмотья, больной донец. Исхудалое лицо его пылало у скул румянцем, кашель рвал больную грудь, и весь он был в горячем поту, но и он поднялся исхудалой головой и смотрел на плясунов огромными страшными глазами, и исхудалые синие губы его невольно морщились в уже непривычной улыбке. Урк... урк... урк... – задорно подхрипывали бубны, и стучали руки в тёмную кожу их мерно, и ядовито подзванивали бубенцы. «Ах, так... так... так... – притоптывали казаки, скаля розовые зубы. – И вот эдак, и вот так...» И толстый, багровый Тихон Бридун, сопя и обливаясь потом, со строгим лицом легко выделял вприсядку, и буйною метелицей вихрилась и рассыпалась вокруг него живая молодёжь. «Ах... ах... ах... – ядовито задорили плясунов казаки. – Вот так... так... так...»

Бридун задохнулся. Снял шапку, вытер с чубатой головы пот, выругался круто.

– А ну вас к бису!.. Замучився... Духу нема...

...Поодаль от стана, на чёрном крутом обрыве, над серебряной гладью тихой Волги, стоял кто-то из дозорных. И вспоминались ему прежние, уже сгоревшие дни, и чуть слышно фистулой напевал он унывно:

Снега белые, пушистые принакрыли все поля,-

Одно поле не накрыто – горя лютого мово...

Посреди этой светлой бездны неба и степи, в эти лунные, одинокие часы он казался себе маленьким-маленьким, и все – и радости, и страдания – было ничтожно, и на все было ему от души наплевать. И он пел, тоскуя:

В этом поле есть кусточек, одинёшенек стоит...

VII. «Сарынь на кичку!..»

Стан засыпал вокруг догорающих костров... Как ни привычны были все эти люди ко всяческому лишению, но холод и сырость от реки донимали их. Они ворочались с боку на бок, натягивали на себя кафтаны, поджимали под себя ноги, вздыхали, бормотали всякие ругательства, вставали, чтобы подбросить в огонь топлива, и опять сон валил их на холодную, ещё непросохшую с весны землю. И некоторые тосковали втайне о привычной, хотя бы и скудной и тяжёлой жизни, о покинутых углах, о близких, и тяготило их тёмное сознание, что эта их игра головами до добра, в конце концов, не доведёт. Но просто было некуда податься...

Не спал и Степан. Сумрачный, он неподвижно сидел один над кручей и только то потухающий, то вновь разгорающийся огонёк его трубки говорил, что атаман бодрствует и думает какую-то большую думу. Высказать её вслух, эту думу, он не смог бы: бесформенные, тяжёлые, угрюмые, как осенние тучи, мысли клубились в его голове и давили душу. Его казакам казалось, что он, ведун, знает всё, знает, куда ведёт их, но теперь, наедине с самим собой, он знал, чувствовал только одно, то, что он игрушка какой-то огромной и тёмной силы, но куда эта сила бросит его, этого он не знал даже приблизительно. Да, вот они поднялись, от тесноты на Дону, с голодухи, «горою и водою», «за зипунами», как говорили они на своём воровском языке. Это было делом очень обычным: побродить, пограбить, попьанствовать, пошуметь, отдохнуть. Дальше завтрашнего дня вся эта орда не смотрела. Но для Степана это было пустяком, подготовкой разве. Смущённой душой чуял он всё яснее и яснее, что его путь лежит не на полдень, а на полночь, не на Хвалынское море, а на Москву... И он всё просматривал свою жизнь, точно для того, чтобы понять, когда тёмная сила эта завладела им...

Степан не был голутвенным казаком, из голоты, — его отец, Тимофей Разя, и вся его родня были самостоятельными, зажиточными низовыми казаками, которые, прибежав в своё время от московского утеснения на Дон босыми и раздетыми, скоро здесь оперились, крепко стали на ноги и стали считать себя как бы аристократией и хозяевами Дона и презрительно, свысока, но и с тревогой смотрели на ту новую голоту, которая продолжала бежать из Московского царства, — и в последнее время всё больше, всё гуще. И так как низовые места были заняты прежними, теперь разбогатевшими казаками, то селилась она больше по верхнему Дону или нищенствовала и батрачила на низу. Развертистый, толковый, храбрый и видный собою, Степан скоро выдвинулся среди своих сверстников настолько, что в 1659 году он в числе других 20–30 почтенных казаков был выбран в «зимовую» станицу, которая ежегодно зимой отправлялась в Москву, чтобы бить челом царю. И Степан, как и все станичники, ходил по богатой Москве, по торгам, по приказам, и смотрел, и слушал, и старался понять. Через два года Дон оказал ему новую честь, отправив его с атаманом к кочевым калмыкам для заключения с ними мирного договора, чтобы не чинить друг другу никаких обид и воровства. Управившись с этим делом, в том же году, вместе с одним дружкой своим, тоже значным казаком, Степан отправился по давно, ещё при покойном отце, данному обету в Соловки, к святым угодникам Зосиме и Савватию, которых казаки очень уважали за скоропослушничество в деле исцеления ран. И так увидел Степан почитай всю Русь, из края в край, увидел страшное разорение и утеснение простого народа, безграничный произвол и часто даже простое озорство больших бояр, воевод и приказных и почуял, как тихо, но неудержимо разгораются в народе какие-то страшные огни. А ведь в ту пору ещё свежи были по всей Руси недавние предания о подвигах Дмитрия на Москве, и тушинского вора, и Заруцкого с Маринкой... Богомолье не принесло мира его душе — напротив, и в Москве, и у Сергия Троицы, и в Соловках он увидел пьянство и разврат заживевших и обнаглевших монахов и попов, и он зашатался в вере: они учат людей, а сами первые не исполняют то,

чему учат других. И Никон проклял о ту пору всех оставшихся при двуперстном сложении – то есть огромное большинство русского народа, а следовательно, проклял он и всех прежних святителей и даже самого Христа, который на старых иконах изображался всегда с перстами, сложенными по старому, древнему обычаю. Так, стало быть, святители прежние сами не знали, чему учили они народ?! Так кто же может поручиться, что Никон лучше их знает? Может, через пять лет явится ещё какой и проклянёт и его? Нет никакой твёрдости ни в чём, а во всём неверность и шатание... И когда на людях, то Господи помилуй, а с глазу на глаз, да в особенности за штофом, такое иногда отцы духовные гнут, что волос дыбом становится. Взять хоть бы благоприятеля его, Аронку, казначея монастырского в Царицыне, – такое иногда соврёт, что и смех, и страшно...

И вдруг жизньхватила со всего размаху и по самому Степану. Были казаки с воеводой князем Юрием Долгоруким в походе против ляхов, и брат его, Иван, атаманом походным был. И ляхи, и московские люди, и казаки вымотались вчистую, лошадёнки с ног сбились, во всем нехватка была, и мор так и косил народ: были деревни, которые совсем опустели, и города многие обезлюдели больше чем на три четверти. И вот казаки запросились домой, на Дон. Воевода не пустил и накричал неподобное. Казаки решили идти домой самовольно, но их окружили ратной силой, заставили остаться, а атамана, Ивана, на глазах всех повесили – не по закону, не по правде, потому вольный Дон хочет служить – служит, а не хочет – его воля. И замутилась злобой душа Степана, тем более замутилась, что открылась ему тут ещё одна сторона жизни, о которой люди помалкивают: когда было что пограбить, кричали казаки про государственное здоровье, а награбили, разорили край, вымотались – о вольностях Дона вспомнили! И кто знает, что сам воевода запел бы, ежели бы ему воевать пришлось не воеводой, а простым рейтаром или казаком? У всех на словах одно, а под словами – другое...

И во время скитаний этих яснее, твёрже, настойчивее встала в его душе та мысль, которая зародилась в нём ещё среди московского раздолья: почему одни властвуют, а другие в грязи пресмыкаются? Почему одни в золоте купаются, а другие и корку чёрствую не всегда видят? Что они за благодетели такие? За что им дано всего не только в изобилии, но в излишестве даже? Ничего такого особенного не дали и не дают они людям; только беззаконие, жесточь, притеснения всякие да обиды, вот и все их дары. А силёнки-то у них, ежели поближе посмотреть, ух как не много – только тряхни, так и посыплются!

Наступил 1666-й год. В народе напряжённо бродили тёмные силы. По всей Руси ползали всякие жуткие, зловещие слухи о близком появлении антихриста и светопреставлении... А на Дону вдруг появился Васька Ус, забубённая головушка, который, не заботясь о скором светопреставлении, набрав с собою пятьсот конных казаков, вдруг нагрянул с ними на город Воронеж и заявил, что пришли казаки на государеву службу, где великий государь укажет быть. Воевода ответил им, что на службу пока ехать некуда и не для чего, и велел им вернуться по домам. Казаки, однако, не послушались и, выбрав от себя станицу к великому государю, снова двинулись в поход, но не на Дон, а на Москву. По пути они подговаривали с собой крестьян, которые и присоединялись к ним, унося с собой всё, что было в силах. По городам приставали к ним служилая мелкота, драгуны, казаки, городовые стрельцы и солдаты Белгородского полка. И так докатился Ус до реки Упы, на которой город Тула стоит. И скопилось в той Туле великое множество дворянства и помещиков, которые бежали от казацкого страха и разорения: много усадеб пожгли и пограбили казаки. Тут встретились они со своей станицей, которая возвращалась из Москвы с царской грамотой: царь приказывал им возвратиться на Дон. Но с пустыми руками домой возвращаться не хотелось, и вот Васька Ус с тринадцатью казаками смело направился к Москве бить челом о «жалованье, чтобы им в свои казачьи городки доехать». Жалованья им не дали, но Васька с товарищи, пограбив, что можно, по пути, вернулся домой совершенно безнаказанно и только потом, при дележе обычного ежегодного царского жалованья, их всех лишили части: не самоволь-

ничай!.. Весь этот поход круг казачий представил, однако, Москве лишь как излишнее служебное усердие...

Многие казацкие головы призадумались: если можно было с пятьюстами казаками, громя всё, дойти до Москвы и вернуться в полном благополучии, то... И не раз, и не два в бессонные ночи возвращался к этой думке и Степан. И хотя теперь путь их и лежал на Хвалынское море, по исстари протоптанной голотой дороге, то всё же сердце его тянуло вверх по этой смутно светящейся в ночной мгле реке, к Москве... Вывезет ли? Дурак ещё народ... Может, и не вывезет, но тряхнуть жирной Москвой и Бог велел...

По крайней мере, хошь потешиться... Всплыло воспоминание о Мотре, жене, о ребятах. Тревога шевельнулась в сердце. Э, чего там!.. А может, удача?... Что, не сидела Маринка со своим Митрием в хоромаш царских?... Да, но чем кончила? Всё одно: двум смертям не бывать, а одной не миновать. И его уже захватило, — чувствовал он, — и понесло, и возврата нет...

За сизой, холодной Волгой, за чуть засеревшейся степью бескрайней черкнула зеленоватая полоска зари. Между бугров и над рекой туман зашевелился. Было холодно, тихо и жутко.

— Атаман, гляди-ка!..

Степан вздрогнул. Один из дозорных, москвитин, холоп Тренка Замарай, весь от сырости синий, подбежал к нему и показал рукой вверх по Волге: вдали, из-за мыса выплывал весенний караван. Вот он, наконец!

Степан разом встал: это судьба его идёт...

И всякие колебания разом разлетелись.

— Беги в станицу и подымай всех... — строго сказал он. — И живо все к стругам... А запорожцы с полковником Ериком пусть на конях вон на тот мыс заскачут и там поджидают... Живо!..

По кустам раздался позывный свист, и дозорные бесшумными тенями побежали подымать казаков.

Суда казались на свинцовой воде угольно-чёрными, и не было слышно на них ни единого звука. Если удалось каравану благополучно пройти всегда опасные Жигули, то это никак ещё не значило, что путина сошла благополучно. И потому шли судовщики со всяким бережением, и на каждом насаде¹⁶¹ стояли дозоры, а на головном был даже отряд стрельцов под начальством стрелецкого головы: в караване были суда патриаршие, казённые и разных торговых людей. Большое судно гостя Василья Шорина везло казённый хлеб для астраханцев, а на другом, что плыло за ним, везли ссыльных.

Вокруг потухших костров засуетились иззябшие, плохо выспавшиеся люди. Хмурые, переругиваясь сиплыми голосами, они быстро разобрали воинский припас свой и один за другим узким, крутым ущельем сбегали к воде, где в кустах были припрятаны их струги и где атаман сурово отдавал последние распоряжения. Все ходило перед ним по ниточке: в такие минуты его опасались пуще огня.

Зелёная полоска за рекой сперва зазолотилась, а потом проалела, и пошёл от неё по дымящейся воде и по пойме раздольной на луговой стороне свет розовый, проснулись соловьи, один, другой, третий, и огромный чёрный сом тяжело бултыхнулся в тёмном омуте, под кручею. Круги пошли от него к берегу, заплескала тихонько вода на бичевнике, и перепуганные кулички, трепеща крылышками и серебристо пересвистываясь, стали перелетать вдоль берега.

— Ну, ребяташки, бословясь...

И первый струг, до отказа набитый вооружёнными оборванцами, отделился от берега и, весь розовый, ходко пошел на стрежень, наперерез каравану. На судах — они были от зари все розовые и от тумана казались висящими в воздухе, над водой, — сразу поместили воль-

ницу и тревожно засуетились. Блеснуло оружие... А от берега летел уже на стрежень другой струг, третий, четвёртый, пятый, десятый, и все, повернув носами против воды, лёгкими ударами вёсел удерживались на одном месте, поджидая. И видно было, как по нагорному берегу заскакали запорожцы со своим горбоносым, сухим, изрубленным Ериком, чтобы занять мыс, куда в случае схватки прибилсь бы караван. Насады, до того шедшие гусем, беспорядочно сгрудились...

Все ближе и ближе наплывал алый караван на затаившиеся струги, и вот вдруг один из челнов ударил в вёсла и разом надвинулся на головное судно. На носу струга выросла большая, широкая фигура атамана с обнажённой, теперь точно огненной саблей в руке. Он поднял саблю, и дико и страшно со всех стругов по розовой, точно кровавой, взбодораженной реке грянуло:

– Сарынь на кичку!..

Страшный старинный клич этот понизовой вольницы сразу точно сковал всех на караване. Начальные люди, бледные, растерянные, засуетились было по судам, уговаривая стрельцов и судовых ярыжек к сопротивлению, но хмурые лица неподвижных команд сразу сказали им, что дело, и не начинаясь, было уже кончено. Струг атамана тупо ткнулся в деревянный борт стрелецкого судна и через минуту – атаман первым – казаки были уже на тихой, как кладбище, палубе. Степан, с горящей огнём саблей в руке, выпрямился во весь свой высокий рост.

– Слушайте все!.. – прокатилось над беспорядочно сбившимися в кучу, окованными страхом судами. – Казаки не тронут чёрного народа, которые не будут супротивничать. Мы расправимся только с начальниками, с лиходеями вашими. Ну!.. – указал он своей пылающей красным огнём саблей на стрелецкого голову, сильного, статного молодца с чёрными кудрями и открытым, смелым лицом. – Живо!..

Засверкали красным и золотым огнем сабли, и стрелецкий голова, весь в крови, рухнул на палубу.

– Здравствуй, батюшка наш, атаман вольнай!.. – закричали со всех сторон стрельцы и ярыжки. – Веди нас в огонь и в воду – куды хошь, за тобой идём!..

Степан махнул саблей другим стругам и указал им на остальные суда, и враз казачьи толпы залили богатый караван. Там прилаживали петлю на шее позеленевшего от ужаса приказчика Шорина, чистяка, похожего на скопца, который одеревеневшими, синими губами творил, путаясь, молитвы, там с криком рубили целовальников, ехавших при казенном хлебе, там жгли их огнём, пытая, где спрятана казна, а сам Степан, перебив одним ударом руку монаху-надзорщику, угрюмому рыжему устюжанину, велел троих работников монастырских – по-тогдашнему детёнышев – повесить на мачте. И через несколько мгновений длинные тела их, все розовые, уже содрогались последними судорогами над водой. На купеческих судах хозяев казаки то вешали по высоким мачтам, на которых весело вились разноцветные флажки, то просто, ограбив, сбрасывали их в розовую, подёрнутую лёгким парком воду. Розовые чайки мягко носились на своих острых крыльях вокруг смятенного каравана и тревожно кричали хриплыми голосами.

– Здесь что? – строго спросил Степан позеленевшего от ужаса приказного, губастого, с выпученными серыми глазами.

– Ссылные... В Астрахань везли... – едва выговорил тот.

– Открывай!..

Грубые дощатые двери с визгом раскинулись. В лицо ударила нестерпимая вонь. Бритые, синие и бледные головы, клеймёные, исхудалые лица, грязные, вонючие тела, прикрытые всяким лохмотьем, переливчатый звон цепей...

– Все выходи!.. – крикнул Степан. – Нам ваши вины неведомы, – куды хотите, туды и идите... А ежели кому почище одеться охота, выбирай на судах, что по душе, и бери, никого не спрашивая...

– Батюшка... Отец... Дай Господи тебе много лет здравствовать... – загалдели ссыльные. – Пошли тебе Господи!.. Из могилы поднял...

И, недолго думая, они бросились терзать и избивать, кого не успели ещё убить казаки, и грабить животы.

– А этого, – указал казакам Степан на губастого, – раздевай донага...

– Батюшка, помилуй... – рухнулся тот в ноги. – Чем же повинен я? Смилуйся, отец!..

– Раздевай!..

В одну минуту он был раздет, – дрожащий, нелепый, безобразный, страшный и смешной в одно и то же время.

– А казна царская у тебя где? Сколько? Неси всю сюда...

Через несколько минут губастый, стыдясь своей наготы, уже стоял перед атаманом с потёртым кожаным кошельем в руках.

– Так. Эй, казаки!.. – засмеялся Степан. – Так вот, с кошельем, и отвезите его на берег, на песочек. И пушай там посиживает...

Губастый ничего не понимал и от смятения не мог выговорить ни слова. И струг быстро понёс его на луговую сторону. Казаки высадили приказного с его казной на песок и быстро вернулись на караван, который, беспорядочно крутясь, медленно наплывал на мыс, где виднелись запорожцы. И одно за другим тяжёлые суда тыкались в мокрый песок неглубокого тут дна.

– Чистый вот пеликан сидит... – смеялись казаки, все оглядываясь на голого приказного. – Вот солнышко повыше подымет, ничего, тепло будет...

– Всех ли лиходеев покончили? – кричал Степан с одного судна на другое.

– Всех, батюшка!.. – кричали с судов ярыжки и стрельцы. – Всех, Степан Тимофеевич...

– Слушай, ребята, все!.. – крикнул Степан. – Всем вам объявляю волю. Идите себе, куда хотите: и работный народ, и стрельцы, и колодники... Силой никого не принуждаю оставаться со мной, а кто хочет идти с нами, тот будет вольный казак. Я пришёл бить только бояр да богатеев, а с бедными и простыми людьми я готов, как брат, всем поделиться...

– Все идем за тобой!.. Все!.. Батюшка, орёл ты наш... – кричали со всех судов. – Все за тобой!..

Солнце ярко играло по широкой, взбудораженной, полной огней Волге. Казаки, стрельцы и ссыльные дуванили богатую добычу. Вдали на песчаной отмели растерянно сидел губастый приказный. На высоких мачтах тихо покачивались удавленники, чёрные и длинные. Москвитин Тренка Замарай ходил бледный, с большими глазами: нет, от такого унеси только, Господи!..

VIII. В Царицыне

Жребий был брошен, теперь ничего другого не оставалось, как продолжать...

Воеводой в Царицыне был о ту пору Андрей Унковский. Это был среднего роста, плотный и смуглый человек с живыми чёрными глазами и маленькой, уже седеющей бородкой, один из тех многочисленных тогда на Руси воевод, которые потрясли молодое царство Московское до самого основания лучше, чем все воров взятые вместе. Девизом Унковского раньше – перед Царицыном он княжил и владел в Старой Руссе – было: у себя на воеводстве я Бог и царь. В смысле «вымучивания» у населения денег он был изобретателен необычайно: так, он часто устраивал у себя пиры и звал всех своих подчинённых и богатых торговых. Так те за такую честь должны были подносить ему «поклонное», кто уклонялся от чести, за тем посылал он приставов и даже сажал в тюрьму, от которой надо было откупаться. По городу он ходил постоянно с толстым подогом и бил им всякого, кто подвёртывался под руку, приговаривая сердито: «Я воевода государев, Унковский... Всех исподтиха выведу, а на кого руку наложу, ему от меня света не видать и из тюрьмы не бывать...» Уже месяц спустя после его воцарения в Старой Руссе посадские люди били челом великому государю: «Будучи у нас воеводой, почал он нам, сиротам государевым, посадским людям, чинить тесноту и налогу большую и напрасные продажи и убытки. Бьёт он всех без вины и без сыску сажает в тюрьму для своей корысти, бьёт батогами до полусмерти, без дела и без вины». Его вызвали в Москву, но он толково поделился добычей с приказными и не только вышел сух из воды, но был назначен в Царицын, место весьма кормное.

Приехав сюда, он собрал своих подчинённых и посадских людей покрупнее и сказал им небольшую речь, в которой он всячески хулил управление своего предшественника и заявлял, что теперь всё пойдёт уж по-новому, по-хорошему. Но никто не верил ему ни в едином слове: это же говорил и его предшественник, и предшественник предшественника, – таков уж у всех воевод обычай на Руси установился... Он и здесь повёл было прежнюю политику свою, но очень скоро осёкся: под влиянием близости вольных казаков здесь население иногда умело и огрызаться. Воевода тона сбавил, но всё же с неукротимым нравом своим справиться не мог и часто срывался. Взятки он тоже скоро отменил начисто: у него все просители должны были только класть кто что может к иконам – Богу на свечку...

Но ещё неукротимее был нрав супруги его, Пелагеи Мироновны, что было тем более досадно, что она обладала всеми телесными совершенствами: собою была дородна – по крайности, есть за что подержаться, говорили знатоки, – черноброва, рот имела сердечком, а носик – пипочкой. А посередине подбородка её была родинка, от которой у всякого прямо в глазах темнело. Но её язык к воеводе был языком василиска, и с самого первого дня между супругами началось такое не-любье, что воеводе иногда небо в овчинку казалось. Он был много старше её, а – по её словам – рыло у него было, что у твоего цыгана. И он пил горькую чашу ежедневно, а когда уж сил не хватало, писал на жену челобитные и то сажал её в холодную на цепь, то в крапиву в подполье, а она вслух сладострастно мечтала, как изведёт она его каким-то зелием.

В воеводских хоромаш шёл обычный смертный бой: Пелагея Мироновна, в нарядном летнике и кике, раскрасневшаяся, с ухватом в руке, дерзко наступала на воеводу, а тот ловко парировал удары ухвата столцом, то есть табуретом. И старая нянька боярыни, Степанида, с подозрительно красным носиком и слезящимися глазками, ахала в раскрытую дверь:

– Боярыня... матушка... До чего разгасилась!.. Господи...

От злости, что никак она ухватом своего воеводу не достанет, боярыня вдруг сорвала с себя убрус и кик и с бешенством швырнула её в «цыганскую морду». Это было страшным позором не только для неё самой, но и для воеводы: видеть простоволосую бабу почиталось

в те времена чрезвычайно оскорбительным. Воевода швырнул свой щит и, получив удар ухватом в спину, торопливо выскочил в сени, а затем, поотдышавшись, спустился на двор и прошел в Приказную избу.

Сенька, молодой, ещё невёрстаный подьячий, с глупыми соломенными вихрами над веснушчатым лицом, задумался над приходорасходной книгой по кабацкому делу: большая путаница была в приходе!.. И он, склонив голову набок, усердно вывел по странице прихода: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей...» И, склонив на другую сторону вихрастую голову свою, он залюбовался своим почерком.

Хлопнула дверь, вошёл грозный воевода. Сенька быстро спрятал свои каллиграфические упражнения под какой-то грамотой и низко поклонился воеводе. Тот едва мотнул ему головой и прошёл в свою комнату, где на столе уже ждали его заготовленные приказными всякие бумаги. Воевода, уже вполне овладевший собой и наслаждающийся чувством безопасности, погрузился в просмотр их, а прочитав, подписывал внизу: «Чтена. В столп». Одна бумага, о помещике Волкодавове, который придерживал немало беглых мужичишек, – это было чрезвычайно выгодно, так как за беглых, конечно, подати не платились, – остановила его внимание особенно: в ней чувствовалась возможность получить «Богу на свечи», и даже на очень многие свечи. И потому воевода отложил её в сторону...

С делами государскими воевода покончил довольно быстро и стал читать грамотку, которую он получил надясь от своего дружка, самарского воеводы, которого он запрашивал, нет ли у него там какой продажной земельки поспособнее. И самарский воевода отписывал ему: «Земля продается с Орловым и ястребцовым гнездом, и со пнем, и с лежачей колодой, и со стоячим деревом, и с бортною долею, и с пчелами старыми и молодыми, и с луги, и с озёры, и с малыми текучими речками, и с липяги, и с дубровами, и с рыбною и бобровою ловлею, и со всяким становым зверем, с лосем, с козою и свиньёю, и с болотом клюковным...»

– Батюшки, казаки!.. – раздался вдруг на дворе не то испуганный, не то радостный крик.

Воевода оторопел. Приказные зашептались тревожно. Он вышел на крыльцо, глянул на Волгу и увидел, как из-за мыса выплывает казацкая армада. Вверху, в тереме, стояла у косящата оконца Пелагея Мироновна и смотрела на реку. Она казаков не боялась нисколько: всё, что угодно, только бы не постылый муж этот, не эта жизнь теремная, тошная, докучливая!..

Казаки гребли прямо на город, – сразу было видно, что они хотят пригрязнуть. Городские ворота были уже заперты, и на стенах и башнях уже шевелились стрельцы и пушкари. Воевода, из смуглого сделавшийся каким-то серым, поднялся на стену.

– Уж вы постоите, ребятушки, за великого государя и за дом Пресвятыя Богородицы... – неуверенным языком говорил он. – Не выдайте нас вора и безбожникам...

– Что ты?... – говорили стрельцы и пушкари. – Как то можно?...

Но за его спиной они лукаво подмигивали один другому и усмехались...

Улицы городка были похожи на встревоженный муравейник. Кто-то испуганно причитал. Многие откровенно грозили кулаком воеводским хоромам и бахвалились:

– Ну, погоди теперь!..

Струги ткнулись носами в мокрый песок. Казаки, звеня оружием, быстро выскакивали один за другим на берег. Пушкари навели на воровские струги свои пушки и затинные пищали. У всех дух захватило. Но – жалко пшикнул порох в затравках, и ни одна пушка не выстрелила. И зашептало тревожно и радостно по толпам: «И пушки заговорил атаман!.. Не берёт порох против ведуна...»

– Какое там ведовство?... – хмуро заметил воеводе тяжёлый и рыжий, густо пахнувший потом протопоп, соборный отец Гаврила. – Ты на рожи-то у стрельцов погляди...

– Знамо дело, измена... – сказал Иван Бакулин, вож. – На...али в затравки, сукины сыны, только всех и делов... Пойдет теперь потеха!..

И посадские широко открыли перед казаками городские ворота: жалуйте, гости дорогие!..

Но Степан был осторожен. Хотя он отлично знал об очень ему дружественных настроениях царицынцев – тайные дружки его подготовили их, – но всё же бережёного и Бог бережёт! И он подозвал к себе своего есаула, Ивашку Черноярца.

– Вот что, Ваня... – сказал он, глядя ему в глаза. – Возьми-ка ты с собой двух-трех казаков поскладнее да сходи-ка с ними на воеводский двор и потребуй у воеводы для казаков молот да наковальню, да мехи и весь кузнечный припас... Нам в пути годится... Ну, а между прочим погляди там, как и что. Раскусил?

– Раскусил... – тряхнул кудрями молодцеватый, подбористый есаул.

– Та вважай у воеводши-то не забарись... – заколыхался своим толстым брюхом Тихон Бридун. – Лучше, в рази чего, у станицю веде, на одну ничку можна...

– Ладно, ладно... – скалил белые зубы Ивашка... – Сам с усам...

Казаки хлопотали около стругов, готовясь к далекому походу за зипунами, а посадские люди усеяли весь берег, кто с тайным недоброжелательством, а кто и со жгучей завистью глядя на этих вольных людей, смело стряхнувших с себя цепи обыденщины. А Ивашка Черноярца тем временем, вырядившись, форсисто прошел с двумя казаками на воеводский двор. Холопы и стрельцы сочувственно смотрели на молодчину казака. Сверху, из косящата окошка, смотрела на послов Пелагея Мироновна. Один из казаков, заметив ее, легонько толкнул локтем Ивашку и повёл глазами на терем. Ивашка приосанился. Воевода с посеревшим лицом вышел на крыльцо. Он совсем растерялся и не знал, как держать себя. За ним сумрачно прятал свою рыжую, волосатую тушу протопоп.

– Здрав буди, боярин... – развязно сказал Ивашка. – Как живёшь, поживаешь, людей прижимаешь?

– Ну, ну, ну... – сказал Унковский. – В чём дело?

– У нас, добрых молодцев, одно дело: вынул нож из-за голенища да в тело...

Воеводу пошатнуло.

– А между прочим, приказывает тебе наш атаман весь снаряд кузнечный дать нам: молот, наковальню, мехи и всё, что полагается... – сказал Ивашка. – Потому без снасти, говорят, и вошь не убьёшь. А у нас поход дальний...

– Где же тебе я его возьму?... Я не кузнец...

– А уж это твоя забота... – сказал Ивашка. – На то ты и воевода. А потом гоже бы казакам и водчонки выкатить... Казаки они с водки добреют...

– Ну, ладно, ладно... Скажи, что-де, привезут... Да смотрите, в городе обиды и порухи никому не чините: собрались в поход и идите... А мне разговаривать с тобой недосуг...

– И нам тоже не до сук, хоша кобели промежду нас есть, и порядочные... – сказал Ивашка, скаля белые зубы. – А ты смотри там не мешкай...

По лицам холопов пробежала улыбка: ловко этот с воеводой-то обходится! За словом в карман не лазит... А старая Степанида, нянька боярыни, недоверчиво, с опаской смотрела на есаула, как бы ожидая, что вот он сейчас петухом запоёт или сделает другое что неподобное.

Воевода с притворной озабоченностью ушёл в хоромы. Протопоп, сопя, заколыхался за ним.

– А узнают на Москве, нагорит тебе... – раздумчиво сказал протопоп.

– А что я буду делать? – развёл тот руками. – Вон их, чертей, и пищали не берут... Ведовством своим они своё-то войско сберегут, а нам... Видел, как наши-то зубы скалят на шуточки его?... Вот и правь тут с этим народом!.. Они отца с матерью за копейку продадут да ещё сдачи попросят...

Ивашка украдкой лукаво подмигнул красавице Пелагее Мироновне, и она, засмеявшись, спряталась. «Ишь, ржёт что твоя кобыла... – заговорила дворня. – И стыдобушки нету... Им что: наелся да и набок... Вот кровь-то и играет... А говорить нечего: хорош товар!..» А Ивашка уже шёл с казаками по узким, кривым и жарким улочкам серого городка, полным пыли и нестерпимой вони. Вокруг дружеские лица, все ластиво заговаривают с ним, а у царёва кабака так чуть не на руки подняли... Нет, опасаться нечего. Казаки повернули к стругам и обо всём доложили атаману.

– Ну, братцы, коли кому после трудов праведных разгуляться охота, вали в город... – крикнул Степан по стругам, вдоль берега. – Ну только уговор лутче денег: гуляй да знай меру. На зорьке отвал...

Казачья не заставила просить себя, быстро смешалась с толпой празднующих, и все, галдя, группами двинулись в город – к кружалам. Остались только немногие, одни по наряду для охраны, а другие, постарше, так, по лени: Ивашка сказал, что воевода водки пришлёт на струги, так какого же чёрта и шататься зря? И они лежали на брюхе на тёплом песке, от нечего делать курили, сквернословили, поплёвывали...

– Гляди-ка: что это за судёнышко сверху бежит?

Все насторожились: в самом деле, сверху плыла большая завозня под парусом. Ещё немного, и она спустила парус, повернула носом к берегу и стала рядом с казацкими стругами. Степан окинул глазами приехавших – их было человек пятнадцать, и все голота.

– Ба, и сам отец Евдоким, праведный человек!..

– Здрав буди, славный атаман... – приветствовал его попик.

– И ты, отче, не хворай... – отвечал атаман. – Петруха, здравствуй...

– Здравствуй, Степан Тимофеевич... – отвечал ещё более загоревший Пётр просто.

– А это кто? Лицо что-то знакомое...

– А это, атаман, крестник твой... – сказал отец Евдоким, и сразу лицо его сделалось ёрническим, бесстыжим, точно совсем от другого человека приставленным. – Бежали мы Волгой, смотрим: сидит на песке голый человек и нас что-то кличет. Мы хошь и торопились догнать тебя, а всё же нельзя дать погибнуть душе христианской... – Ну, подгреблись: по какому такому случаю обнажён еси? А это ты его, атаман, раздел да на берегу с куликами оставил. Ну, денег он нам посулил, ежели приоденем его да с собой возьмём... Мы согласились. Откопал он тогда из песку казну свою – хитёр, сукин кот!.. – обделил всех нас, а мы его вишь как раздели: хошь сейчас под венец...

– Ну, пёс с ним... – засмеялся Степан. – Значит, его счастье... Пущай идёт куда хочет... А вы за мной, ребята? – крикнул он к вновь прибывшей голытьбе.

– За тобой, Степан Тимофеевич!..

– У нас, ребята, не спрашивают: кто, откуда, зачем?... – сказал атаман. – Приехал, садись за общий котёл с казаками, и вся недолга... Устраивайтесь, кто как хочет...

Васька, сокольник Долгорукого, загорелый и оборвавшийся, тряхнул своими золотыми кудрями и просиял улыбкой: важно!.. И новоприбывшие смешались с казаками...

– Ну, а мы отойдем маленько в сторону... – сказал Степан отцу Евдокиму и Петру. – Рассказывайте, что видели, что слышали... А там – он поглядел из-под ладони на солнышко – скоро и обед варить казаки будут... Ну, что подумывают на Москве? – присев на старую опрокинутую лодку, спросил он. – Садитесь-ка вот рядом – песок-то мокрый.

– Скушно живёт народ везде, атаман... – сказал отец Евдоким. – Все ропшут: и мужики, и стрельцы, и посадские... Теперь только и живётся, что купчине какому, да боярам, да нашим церковным властителям... А то всё одна видимость только, что живу-де...

– Значит, не лутчает?

– Какое там лутчает!.. – махнул рукой попик. – Одно слово: хны... Так белым ключом злоба-то в народе и бьёт... Вот в Самаре-городке баяли нам наши, что ты на Хвалынское

море за зипуном собрался. Пустое это дело совсем. В Москве зипуны шьют не хуже... Вверх надо идти...

– Знамо дело, вверх... – коротко проговорил Пётр.

– Всему будет своё время... – задумчиво сказал Степан. – Придёт час, и Москвой тряхнём. А пока решено на море погулять... Я вас с весенним караваном поджидал было... – прибавил он.

– Только сутки одне не захватили его в Нижниим... – сказал отец Евдоким... – И то гнали во всю головушку... А между прочим, на Бело-озеро в Ферапонтов монастырь заходили, просвиричку отцу нашему святейшему патриарху Никону будто с Соловков занесли... – осклабился отец Евдоким. – Ничего, здравствует во славу Божию, вперевалочку, не торопясь... Да, вот она судьба-то человеческая... – вздохнул он с прискорбием, и лицо его опять постным сделалось. – Вчерась великий государь, патриарх всеа Руси, собинный дружок царёв, а наутро смиренный Никон, инок в подрясничке поганеньком... Так-то вот и все мы...

– Ну, отче, со мной оставь воздыхания-то эти... – нетерпеливо перебил его Степан. – Со мной дело говори. О чем с Никоном говорил?

– Да всё о том же... – смеясь хитренькими глазками, отвечал отец Евдоким. – Плакаться стал я ему на тесноту его да на скудость, причитать всякое, а у него глаза-то и-и-и... как у волка разгорелись... Думаю так, что ошибся святой отец: ему не патриархом бы быть, а атаманом воровским на Волге-реке. Одной он породы с тобой, Степан Тимофеич... И что тебе, говорю, святой отче, в такой тесноте тут сидеть, – ты бы, мол, на Волгу, к нам шёл. Воздух у нас там лёгкий, житьё привольное, а мы бы, твои богомольцы, тебе радели бы. Сперва он эдак насторожился было, а потом не стерпело его сердце – у-у, и ндравный же старик!.. – и говорит, что на Волгу ходить ему непошто, а коли того похочу, и здесь народ постоять за меня против бояр супротивных найдется... Вестимо, многого он не сказал, ну только так понял я, что из глаз его нам выпускать неподобаёт: крепко обиду свою помнит старик, и большое в нём дерзновение есть. Да и то сказать: а вчерась сиял, аки солнце, а нынеча, будем говорить, аки Иов на вретище и...

– Ну, ну, не заводи своей волынки... – опять нетерпеливо оборвал его Степан. – А в Москве что? Которые из бояр в силе теперь?

Ивашка, приняв от воеводских служителей кузню и водку и позубоскалив с ними, направился было к атаману послушать, что говорят приезжие, как вдруг кто-то остановил его легонько за рукав. Оглянулся – старуха с красненьким носиком и слезящимися глазками. Вспомнил, что на воеводском дворе видел.

– Ты что, бабка? Говори скорее...

– Ну, не торопись, Борис: смелешь и уедешь... – отрезала старуха. – Ишь, прыткий какой!.. Ты обхождение со старым человеком иметь должен, а не то чтобы как срыву да с бацу... И ничем горячку-то пороть, ты бы баушку Степаниду пожалел бы да пожертвовал ей что на её старость, а она, гляди, весточку какую тебе, молодцу, принесла бы хорошую...

– Вот погоди, с моря вернёмся, так я тебя, может, в шелка да в бархат одену... – блеснул белыми зубами Ивашка. – А пока одним подарить могу: казачьей плетью промежду лопаток.

– Тьфу. Вот охальник-то так охальник... – сказала старуха. – Ну, да ладно, такому молодцу и в долг поверить можно... А покедова велели мне передать тебе, что одна лебёдушка белая больно по тебе стосковалась. И послала она меня сказать тебе, чтобы приходил ты к нам сёдни в ночь соловьев с ней послушать... У вас, на Дону, говорят, гожи соловьи-то, ну, и наши, Вольские (Вольские – Волжские, *прим. сост.*), тоже вашим не уступят...

Ивашка пристально посмотрел на старую.

– Эдак я, пожалуй, для тебя и до похода чего найду, старица Божья... – сказал он, блестя зубами. – Вольских соловьев слушать я охотник – я и сам чернойарский... Только как мне к ним в ночи путь-то найти?...

И старуха, понизив голос, стала рассказывать ему, где и как пройти к соловьям...

А воевода царский тем временем, отдышавшись от первого страху, уже постукивал костылём своим по хоромам и так вот и тянуло его по улицам пройтись да людей приструнить как следует: ишь, тоже волю взяли!.. Но по-за тыном везде шумели уже крепко загулявшие казаки, и потому воевода не торопился...

IX. Вольнодумцы

– А-а... – густо пробасил отец Арон, казначей Троицкого монастыря, тяжело поднимая свою залитую салом, бородатую и неопрятную тушу навстречу Степану. – Се жених грядёт во полунощи и блажен раб, его же обрящет б... – он сказал непристойность и раскати-сто захохотал. – Доброго здравия, славный атаман... Преподобный отче Евдокиме, великого света смотритель, православных учитель, добро пожаловать!.. Спасибо, что не забываете нас, нищих и убогих...

Степан шагнул с порога в его слабо освещенную, неопрятную и полную какой-то густой вони келию с неприбранной постелью, липким от грязи столом и запylённым окном за чугунной решёткой. В переднем углу, затканные густой паутиной и покрытые толстым слоем пыли, стояли старые, чёрные образа, а около них, на полке, тоже едва под пылью видные, лежали старые книги в кожаных переплётках с прозеленевшими медными застёжками.

– Ну, садитесь вот на лавку, под образа, за почестный пир... – гудел утробно отец Арон, сильно окая: он был родом из Суздальской земли. – Сичас вина достанем и пожевать чего-нито... За милую душу... Рад, рад дорогим гостям...

– Как здоров, отец Арон? – спросил Степан, садясь и глядя на увальня смеющимися глазами. – Всё распирает тебя... Не лопни смотри...

– И то, Степан Тимофеич, и то... – застонал отец Арон. – За грехи карает, должно, Господь Вседержитель... Едва хожу...

Он достал из-под кровати только что початый штоф вина и, задыхаясь, поставил его на стол, потом с полки снял каравай хлеба, соли серой в грязной деревянной солонке и три помятых оловянных чарки, а потом опять нагнулся и, всё задыхаясь, достал глиняный горшочек с солёными, сверху тронутыми зеленоватой плесенью, рыжиками. Затем тяжело вышел он из келий и скоро, шумно дыша, вернулся с куском копчёной свинины.

– Ну-ка, со свиданием... – сказал он, дрожащей рукой разливая и расплёскивая водку. – Во славу Божию... Не взыщите, отцы и милостивцы, на убогом угощении моём: плох я хозяин стал, остарел, одышка замучила... Да у меня и скус весь к еде пропал, вот истинное слово! Раньше любил я, грешный, поесть, а теперь абы водка да закусить чего солёненького... Уж не взыщите...

– Да нешто мы к тебе за телесной пищей пришли? – широко осклабился своей улыбкой отец Евдоким. – Ты вот лучше мёдом душевным-то нас напитай...

Отец Арон погрозил ему толстым грязным пальцем.

– Смотри ты у меня, попик непутный!.. – сказал он. – Тебе, по иерейскому сану твоему, полагается смирение, а ты как бы всё подковырнуть человека. Впрочем, ты, чай, в бегах давно забыл, что ты иерей, – только одни волосёнки от всего иерейства и остались... Ты, чай, и не знаешь, атаман, какого аспида пригреваешь ты на груди своей? Ведь он всем рассказывает, что за правду пострадал, а я тебе скажу, как всё дело было и почему теперь он по всей Руси колесит как неприкаянный. Он попом в Шуе-посаде был, и всё священство там, правду сказать, спилось начисто. И по указу архиерея суздальского был на посаде розыск, и все шуяне показали, что дьякон Ларивон из кабака не выходит. А пономарь всё пьян ли валяется? – спрашивают. Да, мёртвую пьёт и пономарь. А поп Евдоким в беседах напивается ли и озорничает ли? И поп, бают, всё по улицам валяется и, приходя пьяный к собору, в колокола бьёт и градом всем возмущает и всякою скаречною бранью мужской и женский пол лаёт... Ну, и разогнали рабов Божиих всех, кого куды... Ну, здравы будьте, милостивцы, гости дорогие...

Все чокнулись, выпили, закусили свининкой. И отец Арон тотчас же снова взялся своей мохнатой лапой за штоф.

– Э, ну тебя!.. – воскликнул Степан. – Всё мимо зыришь... Дай-ка сюды!

И он, отняв у хозяина штоф, ловко налил чарки.

– Вот так-то сидели мы в Москве раз в кружале... – сказал отец Евдоким. – И стали мои москвичи жалиться на скудость. А я и говорю им: заблуждаетесь, чада, ибо не знаете Писания. Не сказано ли вам, маловерным, что не заботьтесь-де, о дне завтрашнем, а живите-де, как птицы небесные, яже не сеют, не жнут и в житницы не собирают, а Отец ваш небесный питает их... А один из москвитян и говорит: ну, какая это-де, батька, жизнь птичья?... Летают по дорогам да г... клюют...

Все захохотали.

– Они, москвитяне, на язык-то куда как остры... – сказал отец Арон, перебирая изъеденной деревянной ложкой зелёные рыжики и, наконец, бросая их. – Нет, задумались мои рыжики вчистую!.. Не годится... Давай, будя, вот свининки пожужь...

– Да ты монах... – подзудил отец Евдоким.

– Заблуждаешься, попик непутный, не ведая Писания... – отпарировал отец Арон. – Ибо не сказано ли: не то оскверняет человека, что входит в уста, но то, что из уст?... Ну-ка, во славу Божию, осквернимся...

– Ну, а в бытие Божие всё ещё не уверовал? – не унимался отец Евдоким.

– Всё не уверовал, отче... И не уверую...

– Всё, значит, по-прежнему «рече безумец в сердце своём: несть Бог»?

– Всё по-прежнему: несть Бог...

– Слышишь, атаман?

– Слышу...

– Ну, вот... А ты его ещё своим воровским патриархом поставить хочешь!..

– Ну-ка, ещё по чарочке... – угощал хозяин и, хлопнув, погладил себя по брюху и проговорил: – Пошла душа в рай, хвостиком завияляла!.. Хорошу царь водку делает, это говорить нечего...

– А коли Бога, по-твоему, нету, откуда же всё пошло? – допытывался захмелевший отец Евдоким.

– Всё самобытно...

– Так и стоит испокон веков?

– Так и стоит... – твёрдо сказал отец Арон. – Ты по степям нашим хаживал? Каменных стуканов этих видал?

– Видал.

– Кто их поставил? Зачем?

– Не знаю.

– И никто не знает... Стало быть, жили в наших местах какие-то народы, от которых и следу никакого не осталось, только вот стуканы эти самые. А до тех народов, может, другие народы были, а до тех ещё другие, и так всегда, ныне и присно и во веки веков...

– Хульная глаголеши... Зри: Бытие, глава I и последующие...

– Долго над ними, отче, я голову ломал... – сказал отец Арон. – И так и не понял, кому это было нужно все эти сплетки сплетать. И всё мне думается, что какой-то озорник на смех всё это написал, чтобы над людьми посмеяться... Наплёл чепухи всякой и говорит: всё это, ребята, слово Божие. И все поверили. Человек дурак, он во всё поверить может: и в то, что баба-яга ночью на помеле ездит, и что Марья от голубя родила. Только говори потвёрже да костром припугни, и не посоля всё проглотят...

– На словах-то ты ерой, что твой Ермак Тимофеич... – подзудил опять отец Евдоким. – А давай-ка вот я тебя испытывать буду...

– Испытай... Только смотри, водка в чарках не прокисла бы, – выпьем сперва... Ну, вот... А теперь испытывай...

– Бога нет?

– Нет.

– А енто што? – указал отец Евдоким на иконы.

– Доски покрашенные.

– А коли доски, плюнь в лик – вот хошь Ему...

Он указал на чёрный, прокоптелый лик Нерукотворного Спаса.

Отец Арон, не говоря ни слова, сопя, потянулся к божнице, снял крайний образ – над столом задымилось нежное облачко пыли, – и харкнул на икону.

– Ещё чего, говори... – спокойно обратился он к отцу Евдокиму.

– А ну расколи его теперь...

Степан сделал было невольное движение, как бы желая остановить его.

– Что? – густо засмеялся отец Арон. – Али боишься, что Боженька громом убьёт? Ни хрена не будет: испробовано! Я и не эдакое дельвал...

Он тяжело поднялся, подошёл к печке, пошарил за ней и, вытащив оттуда тяжёлый ржавый косарь, поставил икону на лавку, несколькими ударами косаря расколол её на несколько частей и бросил к печи.

– Только и всего. Лучина... Ну-ка, наливай...

– Видал? – спросил Степана отец Евдоким.

– Видал... – отвечал тот медленно.

Он внимательно следил за беседой священнослужителей.

– Мы их, мнихов этих самых, непогребенными мертвецами все зовём... – сказал отец Евдоким. – А они вон какие ерои!..

– Это ты, отче, заячьей породы, а у меня душа кремень... – сказал отец Арон, прожёвывая вязкую, как ремень, свинину. – Помню, как я на тебя ещё в Москве дивился: стоит за обедней, лик это благообразный и все обличье совсем как человеческое. А поглядишь на ухмылку эту твою, чистый ты вот окаянный какой... У тебя две личины и две души. То ты словеса хульные глаголеши, а чуть что, вериги наденешь, и слезу покаяния источишь, и в перси себя бить будешь...

– Это верно. И дерзости во мне много, и боюсь я всего...

– Ну, вот. И таких, как ты, на Руси у нас тьмы тем. А я весь единый.

– Так. А что же ты, коли так, богами-то весь угол заставил? Пословица говорится: годится – молиться, а то так горшки крыть...

– А это прибежище моё от дураков... – сказал отец Арон. – Выскажи я всё это им в глаза, сичас же меня в сруб посадят и сожгут. А я помирать не хочу, хоша, по совести, пора. Потому ещё вот водочку уважаю, в бане париться люблю... Раньше девок любил, да теперь по этой части совсем ослаб: когда-когда разве разок удасться... Ежели спокой в жизни от дураков иметь хочешь, так ты глупости их во всем потакай.

– А помрёшь, что будет?

– Червяки съедят.

– И всё?

– И всё. Аминь... Был отец Евдоким, а теперь и вони-то его не осталось...

– Тьфу! Типун тебе на язык...

– А, не любишь! Ха-ха-ха... Ну, выпьем ещё по чарочке – тогда смелее будешь...

Выпили, пожевали. Степан внимательно слушал.

– И как это ты до всего этого дошёл?... – спросил отец Евдоким. – Ньюжли своим умом?

...

– Нет, промыслом Божиим... – улыбнулся отец Арон. – Дело, голуби вы мои, вышло так. О ту пору я на Москве ещё жил. И вот раз постом пошел я на рыбный торг рыбки себе на пропитание купить, и торговый человек селёдки эти, гляжу, в грамоту какую-то завернул. Глянул я на грамоту, а на ней, смотрю, рукописание старинное, с титлами, и сама грамота

по краям вроде как обожжена маленько, пригорела. А я завсегда до всего любопытен был. Ну, пришёл это я домой к себе, развернул рыбу и за грамоту. И вдруг читаю: «Богу единому подобает быть, а не многим, и что Ему всхотети вплотиться и како же Ему в чреве лежати женstem? И како сиа достойно будет Богу в месте таком калне лежати и таким проходом пройти?...» Меня – вот истинное слово – точно молонья обожгла!.. Бросил я все дела свои и сичас же к тому торговому человеку ходом. Прибегаю: кажи мне бумаги, в которые ты рыбу твою покупателям завёртываешь!.. Он сперва было перепугался, отнекиваться стал, как полагается, ну, а я не отстаю: кажи и никаких, а то беды такой наживёшь, что и не выле-зешь... Живьём-де, в срубе сожгут... Ну, отдал он мне все те бумаги, а я домой опять. Разо-брал: судное дело о Феодосии Косом, о Феодорите, что лопарским апостолом зовут, и о дру-гих, иже с ними. Многих листов уже не хватало, но всё же понять кое-что можно было. И понял я так, что когда на Москве пожар большой был, лет сорок, чай, тому назад будет, так тогда все приказы горели и многое, как и полагается, с пожара растащили. Вот и эти листы, надо полагать, с пожара украдены были и попали торговым в дело. И сел я с великим приле-жанием разбирать их, и у меня, можно сказать, глаза впервые на всё открылись. Вот смелый народ был, вот головы!.. – восторженно покрутил отец Арон кудлатой вшивой головой. – Это тебе не пестрообразная никонианская ересь, эти в самую глубь брали и резали прямиком...

– Ну? – очень заинтересовался отец Евдоким. – Чего ж ты там вычитал?

– А вычитал всю веру их... Как они на суде говорили... – отвечал отец Арон. – Они опровергали всё начисто. Говорили они, что не подобает человекам наименовать отцом никого же, кроме Бога, а кресты и иконы хотели они сокрушить, и не велели святых на помощь призывати, и в церковь не ходити, и книг церковных учителей и жития святых не читати, и молитвы их не требовати, и не каятися, и не причащаться, и темианом не кадити, и на погребение от попов не отпеватися, и по смерти не поминатися... А об образах прямо говорили, что идолы-де, то бездушные и в подпор себе из книги Премудрости Соломоновой некий места подбирали. И многое такое говорили, чего, по совести, отговорить им никак не можно. А отцы наши духовные, что по повелению царскому судили их, только одно и твердили им: «Это ты говоришь, чадо, не гораздо!.. Это ты говоришь развратно и хульно... Это тебе вина...»

– И что же сделали с ими? – спросил отец Евдоким жадно.

– Да Матвей-то ещё на суде от страху ума решился... – отвечал отец Арон. – «Богопуст-ным гневом, – пишут, обличён бысть, бесу предан и, язык извеса, непотребная и нестройная глаголаша на многие часы...» Ну, а других, известно, осудили неисходным в темнице быти, да не сеют злобы своя роду человеческому... Так всех, сказывают, и погубили. И как рвали их отцы духовные – ну, ровно вот твои псы!.. А особенно против Феодорита лютовали... А потом и оказалось, что вся лютость-то их оттого была, что он своих мнихов – он игуме-ном суздальского Евфимьевского монастыря был, – держал строго больно и не токмо-де, жён, а скота единого отнюдь женского полу в обитель не пропускал... Вот и распалились монашки... Ну, а там дальше да больше, и я опроверг всё и даже престол Господень опро-кинул. Потому, если бы вера правая, истинная была, то была бы она одна для всех, а ежели истинных вер таких много, значит, брешут всё. Всякий врёт по-своему, только всех и делов...

Помолчали. За окном, на улице, шумели пьяные казаки. Соборный колокол скучливо отбил ещё час жизни.

– А много, много вас таких на Руси развелось!.. – задумчиво проговорил отец Евдо-ким. – Вот недавно в Мижгородском углу черемиса против приказных поднялась. Знамо дело, сичас же к ней холопи всякие пристали и гуляющий народ, и пошла писать. И первым делом, братец ты мой, взялись все церкви сквернить... Диковинное дело!..

– Ничего диковинного нету... – сказал раздумчиво отец Арон. – Всякому хотца хошь на часок один ослобониться да на всей своей волюшке пожить. Навсегда-то ослобониться силёнки нету, кишка не позволяет, ну а дерзнуть на часок – вроде тебя вот, – это можно...

– А что ежели такой народ да размножится?... – покачал головой отец Евдоким. – Вот делов наделают!..

– Ничего особенного не будет... – сказал отец Арон твердо. – Всё то же будет... Ты думаешь, это чему мешает, что поклоны-то они бьют да про аз спорят? Всё это дым один. Помолится, а там и за ножик. Только бы вот в понедельник не оскоромиться да с бабой под праздник не согрешить. Недаром про волгарей наших говорят, что они, не помолясь, и отца родного не зарежут... Да и зарежет – наплевать: снес попу алтын какой и опять чист будет... Ну-ка, ещё по чарочке... Вы её не жалеите – у меня под постелью ещё есть. Ну-ка, со свиданьем...

– Куда ж ты те попалённые листы подевал? – спросил отец Евдоким. – Гоже почитать бы...

– Я их ещё в Москве боярину Афанасию Лаврентьевичу Ордын-Нощокину отдал... – сказал отец Арон. – Впрочем, тогда он и боярином ещё не был... Он тоже до всего дотошный такой... А я к нему вхож был...

Через некоторое время в чадной келье отца Арона стоял пьяный гомон и хохот как на базаре: отец Евдоким славился своим умением рассказывать похабные истории, а в особенности про попов, и его собеседники прямо животики надрывали...

Х. Васькина песня

На зорьке отплыть не удалось: всё было пьяно и храпело на все лады под заборами, в канавах, на берегу, в крапиве, кто куда попал. Степан, стиснув зубы, бешеными и с перепоя красными глазами смотрел на это поле битвы и был бессилён что-нибудь сделать. Отвалить утром или отвалить вечером разницы большой в том не было, но страдал авторитет его, вожака, страдала воинская дисциплина. И когда, наконец, рать его пробудилась, поднялась, лохматая, воспалённая, вонючая, он собрал всех на берегу, у стругов, и крикнул:

– Ребята... У запорожцев, вы знаете, есть обычай: кто на походе напьётся – смерть. В нашей станице так не повелось: нечего зря вериги на себя надевать. Но только вот ежели ещё какой сукин сын у меня на походе насосётся до риз положения, так, что в дело годеен не будет, – в кулю и в воду...

– Эдак кулей не напасёшься... – сверкнул своими зубами Ивашка Черноярец. – Можно и без куля...

– Можно и без куля... – согласился атаман. – Поняли? – крикнул он строго. – Идти за собой я никого не неволю, а ежели который пошёл, так помни, что атаманом – я...

Пьяная орда невольно подтянулась.

– А теперь – за дело... И живо у меня поворачивайся!..

Казаки, которые умывшись, а которые и выкупавшись, живо взялись за приготовления к отъезду.

– А я к тебе, атаман...

Степан обернулся: перед ним – Серёжка Кривой.

– Ну?

– Не пойду я на море за зипунами... – сказал Серёжка угрюмо. – Зипунов и у ляхов много, и ещё почище твоих персидских будут... Казакам надо теперь на Сечу держаться, а оттуда – к ляхам в гости, чтобы начисто ослобонить мир православный и от ляха, и от жида... Я ворушаюсь на Дон, собираю там молодцев и айда...

– А мне чёрт с тобой... – равнодушно сказал Степан. – Как хошь, так и делай. А мы пока что на Яик. Ежели скоро в Сечи будешь, передай атаману Серку, что на Яик-де пошли казаки... Ну?... – крикнул он на струги. – Скоро ли?

– Готово!.. Все готовы... – раздалось со всех сторон. – Можно плыть...

Степан небрежно кивнул головой Серёжке и подошёл к отцу Евдокиму и Петру, которые с казаками не шли.

– Ну, – проговорил он, – мы в путь, и вы тут долго не чинитесь, а идите по своим делам... Вот, – достал он из-за голенища какую-то грамоту, – передайте это там кому нужно... Да смотри не всыпьтеесь...

– Передадим, ладно... – сказал отец Евдоким. – А вы не забывайте там нас, грешных, а ежели случай будет, поминки пошлите нам какие поскладнее... А мы тут за вас Бога помолим... – широко осклабился он.

– Ну, ну, ну... – сердито оборвал его атаман. – А ежели услышите, что назад идём, – тише прибавил он, – не зевайте... Иной раз языком можно сделать больше, чем саблей...

– Ну, учёного учить только портить... – подмигнул отец Евдоким.

– А всё же опять скажу: не на низ нужно бежать тебе, атаман, а наверх... – проговорил Пётр с сияющими глазами. – Зря время теряешь...

– С колокольни оно виднее... – отвечал Степан. – Я за руки тебя не держу: собирай всю ватагу и иди наверх...

– Ну, это толков не будет, если все мы в разные стороны потянем... – угрюмо ответил Пётр. – Я, будя, подожду лутче...

– Посмотрю, что яицкие казаки надумали... – сказал Степан. – Федька Сукнин давно уж всё письмами зовет туда... Ну, однако, долгие проводы – лишние слёзы... Прощайте покуда...

Он прыгнул в свой струг.

– А где же Замарай? – нахмурился он, заметив, что на месте Тренки Замарая на вёслах сидит беглый Чувашии Ягайка, широкоплечий, волосатый парень с лицом каменной бабы и звериными глазками. – Или в кабаке за бочкой завалился?

– Замарай отказался начисто... – засмеялся один из гребцов. – Я его ночью ещё повстречал, как мы со стрельцами пили. Нет, грит, на такое душегубство я, грит, не ходок, тады, грит, я лутче назад, на Москву подамся, грит... Совсем перепугался парень...

– А, ну, чёрт с ним... – бросил Степан. – Отваливай!.. Выходи на стрежень...

И атаманский струг бойко пошёл широкой блестящей рекой. За ним выровнялись ещё стругов тридцать. Пограбленные насады были брошены. Вдоль берега стояли царицынцы и криками провожали добрых молодцев в далекий путь, и не одно сердце затуманилось думкой: эх, что и я не решился всё бросить и последовать за удалыми?! И Ивашка Черноярец не раз украдкой оборачивался на хоромы воеводы, – там, у теремного окна, белелось что-то, и было в этом светлом, тающем вдали пятне много сладкой грусти-тоски. И Пелагея Мионовна всё стояла, всё смотрела, всё не могла уйти и не обращала никакого внимания она на то, что совсем уже оживший воевода её всё по сеничкам подожком постукивает: уж доберусь-де, я до вас, дайте срок!..

Васька-сокольник блаженно шурился в солнечные шири. То, что он вокруг себя видел, не было похоже на его давнее, так его манившее представление о степи вольной, – зелёная ширь бескрайняя, неизвестно куда убегающая путь-дороженька и одинокая, тоскующая берёзка белая при ней, – но и это было очень хорошо. И в его широко раскрывшейся душе как-то сама собой песня складывалась. Много он песен сложил так – сложит и позабудет...

Казаки, точно желая загладить ночную гульбу и беспорядок, усердно пенили вёслами широкую Волгу, и радостно вдыхали эти обнажённые, мохнатые, как у зверей груди, свежий, пахнувший солнцем, водой да далью ветер, и теплились их сердца смутной думкой о предстоящих подвигах воинских, о добыче богатой, о вольной волюшке... А на переднем, головном струге, на носу, сидел, глядя вперёд, атаман, и странное свершалось в его горячей и сумрачной душе: все эти сотни людей – всего в станице было до тысячи трёхсот казаков – были уверены, что он их ведёт, а он смутно, но несомненно чувствовал опять, что его самого ведёт какая-то глухая сила, которой он не может сопротивляться. Большею частью, в минуты шума и всяческой суеты, и он чувствовал себя вожаком, что-то решающим, что-то приказывающим, но стоило ему, как теперь вот, затихнуть на некоторое время, как снова появлялось это глухое ощущение какой-то руководящей, гонящей его в неизвестное силы, как гонит верховой ветер эти его струги с надувшимися парусами: со стороны смотреть – струг везёт казаков, а на самом деле сам струг увлекается вперёд сильным течением стрежня и ветром, который неизвестно откуда и почему приходит и куда и зачем уходит... И это вот ощущение зависимости от чего-то тайного, но несомненного и заставляло атамана хмуриться, и недоумевать, и испытывать неясное, жуткое чувство обречённости...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.